ОЛЬГА КАЛАШНИКОВА

Михаил Филин

ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вниманию читателей предлагается научно-художественная биография Ольги Калашниковой — дворовой девки помещиков Пушкиных, которой выпало стать «крепостной любовью» нашего прославленного стихотворца и матерью его ребёнка. Роман столичного барина и «чёрной крестьянки» начался в псковском сельце Михайловском во время ссылки Александра Пушкина, на иной лад продолжился в дни знаменитой «болдинской осени», завершился же он и вовсе своеобычно. За долгие годы общения поэт вкупе со своей избранницей (которая превратилась в дворянку и титулярную советницу) создали самобытный жизненный текст, где романтические порывы соседствуют с пошлыми прозаизмами, блаженство с горестью, а добродетель с пороком. Перипетии данного романа нашли художественное отражение в пушкинских произведениях — таких как «Евгений Онегин», «Русалка», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др. Обо всём этом повествует, опираясь на разнообразные (в том числе архивные) источники, известный историк и писатель М. Д. Филин.

Возрастные ограничения: 16+

- Михаил Филин
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвёртая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  - ПРИЛОЖЕНИЕ
  - ИЛЛЮСТРАЦИИ
  - ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ О. М. КЛЮЧАРЁВОЙ (КАЛАШНИКОВОЙ)[287]
  - БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48

- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92

- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136

- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180

- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224

- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268

- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287

Михаил Филин
Ольга Калашникова: «Крепостная любовь» Пушкина

ПРЕДИСЛОВИЕ

В тридцатые годы XIX века, незадолго до кончины, в наброске плана романа «Русский Пелам» Александр Пушкин зафиксировал: «Эпизод креп<остной> любви» *(VIII, 975)* [1]. О чём собирался поведать автор — доподлинно неизвестно. Возможно, и даже вероятно: притаившись за спиной героя, он замыслил рассказать нечто сугубо личное, автобиографическое…

А ранее, осенью 1829 года, на обратном пути из Арзрума в Петербург, поэт надолго задержался в Москве. Здесь Пушкин, как водится, общался со многими, однако особенно часто бывал в гостеприимном доме семейства Ушаковых на Средней Пресне. Оно и немудрено: ведь одной из дочерей хозяина, статского советника Николая Васильевича Ушакова, Пушкин уже давно и «сильно увлёкся»[2].

«Прелестную» барышню, вскружившую ему голову, величали Екатериной. На листах альбома её младшей сестры, Елизаветы Николаевны, кавалер тогда же, в конце сентября — начале ноября, оставил, помимо рисунков, пространный полушутливый перечень женских имён. Он вспомнил и перечислил тех представительниц прекрасного пола, которые — в разные годы, в той или иной форме и степени — прельстили его[3]. Так называемый «Донжуанский список», состоящий из двух частей, был сделан карандашом и, скорее всего, за пару приёмов. Позднее сёстры Ушаковы — там же, в драгоценном альбоме (ПД № 1723), — расшифровали отдельные имена. После же факсимильной публикации списка в «Альбоме Пушкинской выставки 1880 года» (1887) помянутые поэтом дамы и барышни стали объектами пристального внимания пушкинистов, которым удалось (иногда, правда, предположительно) идентифицировать ряд лиц.

Благодаря разысканиям учёных (в первую очередь маститого Павла Елисеевича Щёголева) ныне можно с большой долей уверенности утверждать: «Ольга» из второй части пушкинского реестра — это *Ольга Калашникова,* дочь Михайлы Калашникова, управляющего сельцом Михайловским и (впоследствии) Болдином, одного из «столбовых крепостных господ Пушкиных»[4]. Именно её по установившейся с давних пор традиции называют «крепостной любовью» поэта. В. В. Вересаев, структурируя свою книгу «Спутники Пушкина», данной характеристикой не ограничился и возвёл Ольгу в разряд пушкинских «родственников и домочадцев»[5]. П. Е. Щёголев не отстал от коллеги и присвоил ей титул «жены в 1825 году»[6]. А

поэт Михаил Дудин был убеждён и не уставал убеждать других, что стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» адресовано Калашниковой:

И вдруг спокойно озарение
Само приходит по себе,
Что чудо — «Чудное мгновение» —
Одной написано тебе[7].

В откровенном письме приятелю Александр Пушкин нарёк Ольгу Калашникову «Эдой» *(XIII, 278)*. И действительно: история дворовой девки из псковского сельца напоминала драматическую судьбу героини поэмы Евгения Боратынского — юной неродовитой финляндки Эды, соблазнённой и впоследствии покинутой «гусаром красивым»:

Он поскакал. Уж за холмами
Не виден он твоим очам…
Согнув колена, к небесам
Она сперва воздела руки,
За ним простёрла их потом
И в прах поверглася лицом
С глухим стенаньем смертной муки[8].

Примечательно, что поэма «Эда» публиковалась фрагментами в журналах и альманахах 1825 года, доступных ссыльному Пушкину. А в следующем году, в феврале, «финляндская повесть» Боратынского была напечатана в Петербурге отдельной книжкой (вместе с «описательной поэмой» «Пиры»), Иными словами, реальный деревенский роман Александра Пушкина развивался в те же сроки, как бы параллельно с оглашаемым поэтическим действом, и, что особенно любопытно, имел с литературной новинкой пусть и не абсолютное, но разительное сходство[9].

Кстати, Пушкин высоко оценил творение товарища по цеху. «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут, — писал он барону А. А. Дельвигу 20 февраля 1826 года. — Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякой говорит по своему. А описания лифляндской природы! а утро после первой ночи! а сцена с отцом! — чудо!» (*XIII, 262)*.

Пушкин счёл «Эду» Боратынского «одним из самых оригинальных произведений элегической поэзии» (*XI, 107),* «произведением столь замечательным оригинальной своею простотою, прелестью рассказа, живостью красок — и очерком

характеров, слегка, но мастерски означенных» *(XI, 74)*. Так утверждал поэт в 1828 и 1830 годах, когда его буколическая подруга уже обрела иной статус. О «характерах», речах и мотивировке поступков действующих лиц поэмы он, заимевший собственный опыт сословно неравного романа с «роковым разлученьем», мог судить со знанием предмета.

Любовная связь Александра Пушкина с Ольгой Калашниковой многократно становилась предметом дотошного, подчас бесцеремонного, анализа. В итоге у кого-то возникла иллюзия, что «роман <…> документирован на редкость полно»[10]. На самом же деле источников до обидного мало, история отношений поэта и дочери управляющего изобилует туманными эпизодами. Ещё больше пробелов в биографии Ольги: её бытие «в отдалении» от барина обычно представляется излишне будничным; оно реконструировано немногими энтузиастами разве что фрагментарно. Нуждается в дополнительном изучении и вопрос о творческих рефлексиях поэта, так или иначе сопряжённых с Ольгой Калашниковой. Иногда их сводят к покаянному дискурсу. «Уж лучше, пожалуй, знать, как впоследствии терзался и казнил себя Пушкин, нежели думать, что вся эта история была ему нипочём», — заметил, например, В. Ф. Ходасевич[11]. Но такой упрощённый подход мало что объясняет.

В настоящем очерке жизни Ольги Калашниковой — если угодно, опыте *микроисторического* исследования — самонадеянный автор отважился затронуть разом все обозначенные проблемы. На страницах книги имеются и материалы для раздумий о пушкинской поэтике *in genere*[12]. Сверх того, вниманию читателей — «если Бог пошлёт мне читателей» (*VIII, 127*) — предлагается беглая хроника сосуществования двух семейств, помещичьего и крестьянского, на протяжении полувека.

В Приложении к биографическому очерку помещены несколько глав о «крепостной любви» поэта из полузабытой книги В. Ф. Ходасевича «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924). Мнится, что в этих главах есть ряд суждений, которые выдержали испытание и временем, и шквальной критикой пушкинистов.

Глава первая
КАЛАШНИКОВЫ

Отца простого дочь простая…

Эда

«Мне около семидесяти лет», — извещал Михайла Иванов Калашников[13] своего барина, Александра Пушкина, 22 декабря 1836 года. И подчёркивал: «Все семдесят лет проведены наслужбе господ моих» *(XVI, 203)*. На самом же деле отцу нашей героини было о ту пору немногим больше шестидесяти. Судя по ревизской сказке 1816 года «о состоящих мужска и женска пола дворовых людях и крестьянах» в сельце Михайловском, он появился на свет в 1774 или 1775 году[14]. Однако в источниках можно столкнуться и с другой датой его рождения[15].

До недавнего времени материалов для составления самой элементарной родословной крепостных людей Калашниковых практически не имелось. Но на рубеже XX–XXI столетий Н. С. Новиков, роясь в провинциальных архивах, обнаружил документы, которые дают некоторое представление об истории этого крестьянского рода. В найденных ревнителем бумагах есть любопытные генеалогические подробности[16].

Оказалось, что родители Калашникова, Иван Абрамов и Параскева Сергеева, и их дети (Захар, Анна, Дарья, Авдотья и наш Михайла) некогда числились дворовыми людьми прославленного Абрама Петровича Ганнибала, сподвижника царя Петра I. Все они были приписаны к обширным имениям чёрного генерала в Софийском уезде Санкт-Петербургской губернии[17]. После кончины «арапа Петра Великого» (1781) и раздела его имущества между наследниками семейство Ивана Абрамова перевели на жительство в «новопоселённое сельцо Михайловское» Опочецкого уезда Псковской губернии. Владельцем сельца по разделу отцовских владений являлся Осип Абрамович Ганнибал (дед поэта). Водворение Калашниковых на жительство в указанной деревеньке было зафиксировано в ревизской сказке 1782 года.

Осипа Абрамовича Ганнибала, смолоду склонного к «невоздержанной жизни», Александр Пушкин охарактеризовал так: «Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединённые с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения» *(XIV, 314)*. Со своей женой, Марией Алексеевной, Осип Абрамович жил «в разъезде»[18].

Угодить такому барину было куда как непросто, однако

Ивану Абрамову, похоже, удалось расположить «дюжего» Осипа Ганнибала к себе. В течение многих лет (начиная с 1782 года) он, с перерывами, исправлял в Михайловском должность старосты (приказчика). В награду за службу Осип Абрамович иногда, в минуты сентиментальные, даже подумывал отпустить дворового и его фамилию на волю. «Покойный дедушка ваш, — уверял Михайла Калашников Александра Пушкина, — обещал мне и семейству тихое счастие…» *(XVI, 203)*.

В середине 1790-х годов сын старосты, Михайла Иванов, разменяв третий десяток, женился на девице из сельца — Вассе (или Василисе) Лазаревой, дочери отставного сержанта Лазаря Космина и Агриппины Алексеевой. В исповедной росписи 1794 года местной церкви Воскресения Христова указано, что Вассе исполнилось «16 лет». Значит, избранница Михайлы родилась в 1777 или в 1778 году и была младше своего мужа на три или на четыре года[19].

Вскоре у молодых стали появляться дети, один ребёнок за другим. Всего Калашниковы прижили восьмерых, в том числе шестерых сыновей. Двое (Александр и Мария), очевидно, умерли в раннем возрасте. Остальным же было суждено подрасти и попасть в услужение к Пушкиным. Как отметили современники, кое-кто из отпрысков Михайлы и Вассы Калашниковых отличался статью или миловидностью. Верно, они пошли в своих родителей.

В октябре 1806 года непутёвый Осип Абрамович Ганнибал, так и не помирившийся с супругой, приказал долго жить. И новыми владельцами сельца Михайловского стали его вдова Мария Алексеевна и дочь Надежда. Последняя уже давно (с 1796 года) была замужем за отставным капитан-поручиком Сергеем Львовичем Пушкиным и обзавелась потомством — Ольгой, Николаем, Александром и Львом.

В ту же эпоху, в середине 1800-х годов, в устоявшемся быту Калашниковых произошли некие кардинальные изменения.

Как выяснил Н. С. Новиков, упоминания о них вдруг исчезли из «списков дворовых» сельца Михайловского. Исследователь предположил: «Родители Пушкина и бабушка в это время жили в Москве, лето проводили в подмосковном имении Захарово. Вероятно, семью и перевели в Захарово»[20]. Что ж, пока, то есть до обнаружения каких-либо новых документальных данных, такая догадка имеет право на существование. Однако чуть более убедительной нам представляется иная версия: она подкрепляется авторитетным мемуарным свидетельством.

Есть основания думать, что семейство Калашниковых было препровождено в имение Петровское Опочецкого уезда, расположенное неподалёку от сельца Михайловского. Им владел

отставной генерал-майор Пётр Абрамович Ганнибал (1742–1826), брат Осипа Абрамовича, «двоюродный дедушка» *(XIII, 205, 543)* Александра Пушкина.

Доказательство в пользу такой гипотезы представлено Павлом Васильевичем Анненковым, биографом поэта, который свёл знакомство (вероятно, в 1850-х годах) с древним Михайлой Ивановым Калашниковым. «Первый пушкинист» записал и опубликовал колоритный рассказ крестьянина о «старом арапе» Петре Абрамовиче Ганнибале: «Генерал от артиллерии, по свидетельству слуги его, Михаила Ивановича Калашникова, которого мы ещё знали, занимался на покое перегоном водок и настоек, и занимался без устали, со страстью. Молодой крепостной человек был его помощником в этом деле, но, кроме того, имел ещё и другую должность. Обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать русские песенные и плясовые мотивы на гуслях, он погружал вечером старого арапа в слёзы или приводил в азарт своей музыкой, а днём помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, причём раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведения по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной, да и вообще, — прибавлял почтенный старик Михаил Иванович, — когда бывали сердиты Ганнибалы, все без исключения, то людей у них *выносили на простынях*. Смысл этого крепостного термина достаточно понятен и без комментариев»[21].

Не исключено, что проникновенный гусляр Михайла Калашников за святотатство был не только жестоко прибит Петром Абрамовичем, но и изгнан с позором обратно, в сельцо Михайловское. Та же участь, видимо, постигла и кого-то из его домочадцев. По дороге, идущей из Петровского вдоль озера, они вернулись восвояси.

С 1808 года имя дворового человека Михайлы Калашникова вновь появляется в исповедных росписях Воскресенской церкви. А дела его двинулись в гору: тридцатилетний мужик стал управляющим. Возможно, отец Михайлы, Иван Абрамов, к той поре уже отошёл в мир иной.

Сергей Львович и Надежда Осиповна Пушкины не слишком вникали в тонкости управления помещичьим хозяйством. В целом они благоволили к Михайле Калашникову, между собой иногда даже величали его на французский манер Мишелем[22]. От случая к случаю приближённый человек выполнял ответственные поручения. Так, в октябре 1814 года «всенижайший раб» Михайла подавал «по доверенности» писанное на гербовой бумаге прошение в Псковскую палату гражданского суда. Оно касалось

имущественных дел М. А. Ганнибал и Н. О. Пушкиной[23].

В ревизской сказке, составленной в седьмую ревизию (1816), Михайла Иванов с семейством, как и подобало управляющему, помещён «на первое место»[24]. Аналогично было сделано в исповедной росписи 1825 года церкви Воскресения Христова[25]. В последующие годы священник Иларион Евдокимов Раевский (по прозвищу «Шкода»), ведавший («с причтом») церковными книгами, уже не упоминал служителя «Михайлу Иванова сына Калашниковых»…

Итак, у четы Михайлы и Вассы Калашниковых благополучно выросло пять сыновей — Фёдор, Василий, Иван, Пётр и Гаврила. Бог дал им и дочь Ольгу; она была младше первых двух братьев и, соответственно, старше прочих[26]. Относительно времени и места её рождения до сих пор нет определённости.

Уже почти целое столетие из публикации в публикацию кочует «аксиома»: Ольга Михайлова Калашникова появилась на свет в 1806 году. Обоснование датировки пишущие видят в единственном документе — в ревизской сказке 1816 года, где сообщается, что дворовой девке Ольге, дочери Михайлы Иванова, десять лет[27]. Однако Н. С. Новиков, изучивший метрическую книгу церкви Воскресения Христова за 1806 год, не нашёл там надлежащей записи о рождении и крещении младенца Ольги. Развивая своё предположение о переводе семейства Калашниковых в сельцо Захарово, исследователь пришёл к вроде бы логичному выводу: значит, ребёнок родился там, в подгородной М. А. Ганнибал.

Мы же, повторим, осторожно допускаем, что родилась Ольга в Петровском, у Петра Абрамовича Ганнибала. И ещё: надо помнить, что в ревизских сказках обычно указывалось, сколько *полных* лет было тому или иному крепостному. Интересующая нас сказка составлена в *марте* 1816 года. А в марте 1816-го десятилетним по праву считался всякий, кто явился в мир *после марта 1805-го и до марта 1806 года.* Учитывая это, рискнём даже конкретизировать: наша героиня появилась на свет в имении Петровское *в первой половине июля 1805 года* и посему была наречена при крещении в честь святой благоверной княгини Ольги, супруги киевского великого князя Игоря[28].

Получается, что Ольга Калашникова в младенчестве успела недолго побывать в крепостных взбалмошного Осипа Абрамовича Ганнибала.

Источники молчат о её раннем детстве. Видимо, Ольга провела его в Петровском. Когда же отца, Михайлу Калашникова, выдворили в Михайловское, она осталась у страховитого Петра

Абрамовича Ганнибала. Возможно, мать Васса и кто-то из братьев находились тогда рядом с отроковицей.

С 1814 года имя Ольги Калашниковой присутствует в исповедных росписях церкви Воскресения Христова. Дворовая девчонка безвыездно живёт в сельце Михайловском и упоминается среди «прихожан, бывших у исповеди и святого причастия во все четыре поста»[29].

А где-то в тридевятом царстве, в хмуром столичном граде, в эти же годы учился в Лицее, пробавлялся «гогель-могелем» и рифмами и быстро мужал Александр Пушкин, который был старше Ольги лет на шесть…

Глава вторая
ИЗБРАННИЦА МОЛОДОГО БАРИНА

Ты, может быть, меня погубишь.

Эда

Впервые Александр Пушкин, уже познакомившийся с азами науки «страсти нежной» и открывший свой «Дон-Жуанский список», побывал в сельце Михайловском летом 1817 года, завершив курс в Царскосельском лицее.

Позднее, в автобиографических записках, он вспоминал: «Вышед из Лицея я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но всё это нравилось мне не долго. Я любил и доныне люблю шум и толпу…» (*XII, 304)*. По некоторым сведениям, «пошуметь» он, однако, успел и в глуши — даже вызвал на дуэль дядюшку Семёна Исааковича Ганнибала, повздорив с ним во время танцев из-за аппетитной местной девицы Лошаковой. (Впрочем, распетушившиеся кавалеры быстро помирились.) Запомнился новоиспечённому чиновнику Коллегии иностранных дел и визит в имение Петровское, к другому Ганнибалу, двоюродному деду Петру Абрамовичу. С ним Пушкин лихо, не морщась, распивал водку — разумеется, «собственного изделия хозяина» (П. В. Анненков).

Спустя два года, в июле 1819-го, Сверчок вновь наведался в Псковскую губернию. Как сообщил тогда В. Л. Пушкин князю П. А. Вяземскому, поэт отправился в Михайловское «очиститься в деревне от городских грехов, которых он, сказывают, накопил множество»[30].

Там Александр Пушкин прожил целый месяц, похоронил в Святогорском монастыре младшего брата Платона, много сочинял. Судя по беловому автографу (ПД 881), в сельце Михайловском была написана, среди прочего, и «Деревня»:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льётся дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.

Стихотворение несколько лет распространялось в списках и воспринималось современниками как «антикрепостнический

манифест», обличающий «рабство» и «невежества убийственный позор». Кстати, бичуя «*барство*[31] дикое, без чувства, без закона», Пушкин не преминул отметить:

Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея *(II, 82–83)*.

У последнего стиха имелся и другой вариант:

Для дерзкой прихоти злодея *(II, 514)*.

Дворовых людей в Михайловском было немного, душ двадцать с лишком[32]. Конечно, маленькая Ольга Калашникова попадалась Александру Пушкину на глаза. Каких-либо знаков особого внимания с его стороны быть просто не могло. А дочка управляющего наверняка рассмотрела приехавшего из столицы молодого барина.

В середине августа 1819 года Пушкин уже был в Петербурге — и продолжил испытывать судьбу.

До его настоящей *встречи* с Ольгой оставалось пять лет.

За эти годы Пушкин, не забывая об удовольствиях всяческого, подчас сомнительного, рода, сумел стать одним из первейших русских поэтов. Попутно он зарекомендовал себя и опасным шалопаем, вольнодумцем, который наводнил империю «возмутительными стихами». Сам император Александр Павлович разгневался на даровитого и бесшабашного стихотворца. Дело в 1820 году вполне могло кончиться худо, даже Сибирью, но благодаря заступничеству влиятельных покровителей коллежский секретарь Александр Пушкин отделался, можно сказать, лишь лёгким испугом.

Его наказали переводом по службе в Кишинёв, «проклятый город» *(II, 261),* в распоряжение главного попечителя колонистов южного края России генерал-лейтенанта Ивана Никитича Инзова, добрейшего человека.

После захолустного Кишинёва Пушкин перебрался в многоликую Одессу и обрёл тут нового начальника — новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. Герой минувших Наполеоновских войн и убеждённый либерал принял Александра Пушкина в 1823 году «очень ласково». Но отношения с Воронцовым у поэта в силу ряда причин так и не сложились. С каждым месяцем их конфликт принимал всё более острый характер — и наконец потерявший терпение граф

обратился в Петербург с решительным ходатайством об удалении строптивца из города.

На сей раз правительство отреагировало достаточно жёстко. Неисправимый Пушкин, эта «сумасшедшая голова, с которою никто не сможет совладать»[33], был в июле 1824 года выключен из службы «за дурное поведение» и удалён «в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства».

Утром 1 августа поэт понуро покинул Одессу.

9-го числа он добрался до сельца Михайловского, где застал предававшихся летнему отдыху отца с матерью, сестру Ольгу, «курчавого брата» Льва и любезную Арину Родионовну. Александра встретили «как нельзя лучше» *(XIII, 116)*. Беднягу разместили в комнате «возле крыльца, с окном на двор <…>. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. <…> Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев»[34].

И потекло размеренное и унылое деревенское бытие…

Ссыльный Пушкин бредил Одессой; что-то читал; временами обращался к сочинительству[35]; разъезжал верхом по окрестным полям; исправно посещал соседнее село Тригорское, где проводил время в обществе Прасковьи Александровны Осиповой и её влюбчивых дочерей. Между «патриархальными разговорами» *(XIII, 114, 532)* и игривыми «фарсами» *(XIII, 118)* фрондёр съездил в Псков и в присутствии губернатора дал подписку «жить безотлучно в поместий родителя своего, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни, и не распространять оных никуда». Потом, на исходе октября, Александр Пушкин в пух и прах рассорился с отцом Сергеем Львовичем, ранее обязавшимся иметь «полное смотрение» за подозрительным сыном и доносить о своих наблюдениях местному начальству.

«Скука смертная везде», — признавался поэт в одном из осенних писем *(XIII, 118)*. О «бешенстве скуки» помянуто в другом послании *(XIII, 114, 531)*. Да и в эпистоле, которая была адресована князю П. А. Вяземскому, зафиксировано то же самое безысходное настроение: «О моём житье-бытье ничего тебе не скажу — скучно вот и всё. <…> Умираю скучно» *(XIII, 111)*.

Надвинулись холода. Между 3 и 18 ноября члены семьи поэта дружно оставили сельцо Михайловское. Пример подал Лев; Ольгу Пушкину, отправившуюся в путь в начале десятых чисел, сопровождал староста Михайла Калашников, которому были даны различные поручения. Вслед за детьми в Петербург тронулись и

Надежда Осиповна с разобиженным Сергеем Львовичем.

Александр Пушкин, избавившись от опостылевшей родительской опеки, остался коротать зиму вместе с няней. «Образ жизни моей всё тот же, стихов не пишу, продолжаю свои Записки да читаю Кларису, мочи нет какая скучная дура!» — сообщал поэт брату в конце ноября. В том же письме он — заметим, уже вторично — потребовал, чтобы Лёвушка-Лайон поскорее прислал в деревню «Эду» Евгения Боратынского. И полушутливо добавил: «Не то прокляну тебя» *(XIII, 123)*.

Другая же, *его* Эда изо дня в день сидела за уроками в соседней комнате.

Ольге Калашниковой было в ту пору 19 лет. В таком возрасте крестьянки обычно уже имели собственные семьи и детей, но случалось, что они шли под венец и позднее[36]. Вероятно, родители девки покуда не смогли подыскать ей солидного, подходящего по статусу жениха. И Ольга числилась в «сенных», то есть горничных, выполняла различные работы в господском доме и входила в «молодую команду» (И. И. Пущин), которая пряла и вышивала в покоях Арины Родионовны.

К сожалению, «описание росту и примет» Ольги Михайловой Калашниковой, сделанное в 1831 году, утрачено[37]. Её портреты, выполненные поэтом или кем-нибудь ещё, нам неизвестны. Поэтому составить представление о внешности (да и о характере) девицы можно разве что самое приблизительное, основанное по преимуществу на весьма специфических, литературных источниках.

Начнём с того, что Пушкин сравнивал Ольгу с «чухонкой» Эдой. А Евгений Боратынский удостоил свою героиню такими стихами:

> Отца простого дочь простая,
> Красой лица, красой души
> Блистала Эда молодая.
> Прекрасней не было в горах:
> Румянец нежный на щеках,
> Летучий стан, власы златые
> В небрежных кольцах по плечам,
> И очи бледно-голубые,
> Подобно финским небесам[38].

По ходу развития сюжета поэмы появились дополнительные подробности о финляндской «красотке». Так, читатели узнали, что Эда «лицом спокойна и ясна»; что младая девица очень добра,

весела и скромна, но в обращении с людьми вовсе не робка:

Бывало, слишком зашалит
Неосторожный постоялец, —
Она к устам приставит палец,
Ему с улыбкой им грозит[39].

«Девой милой» назвал её автор поэмы. И на все лады повторял: у Эды «милый лик».

«Очень милая и добрая девушка»; «Она очень мила» — так отзывался об Ольге Калашниковой и Александр Пушкин в переписке с князем П. А. Вяземским *(XIII, 274, 278)*. В стихах он был столь же немногословен, но, к счастью, чуть более конкретен.

В конце декабря 1824 года в одном из поэтических набросков Пушкин нарёк Ольгу «девой бойкой» *(II, 422, 942)*.

И ещё — в четвёртой главе «Евгения Онегина», которая создавалась в сельце Михайловском, есть строфа XXXIX[40]. Она написана в декабре 1825 года[41] и повествует о «вседневных занятьях» заглавного героя. (Как известно, тут поэт довольно точно изобразил собственное времяпрепровождение в псковской деревне.) Среди постоянных трудов анахорета значился и такой:

…Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцалуй… *(VI, 89, 372)*.

На приведённом двустишии стоит задержаться, ибо перед нами, как это ни парадоксально, самая подробная характеристика внешности Ольги Калашниковой.

(Большинство пушкинистов убеждены, что речь здесь идёт именно о ней. К примеру, Владимир Набоков писал в своём «Комментарии» к роману следующее: «Я несгибаемый противник ведения литературных дискуссий, основанных преимущественно на обстоятельствах личной жизни автора <…>. Однако почти несомненно, что в настоящей строфе поэт, посредством уникального для 1825 года приёма, закамуфлировал свой собственный опыт…»[42]

Иногда, правда, предпринимаются попытки дискредитировать данный тезис[43]. Дело в том, что рассматриваемый фрагмент романа в стихах являет собою не что иное, как *почти* дословный перевод из элегического стихотворения французского поэта XVIII века Андре Шенье «Шевалье де Панжу»:

Le baiser jeune et frais d'une blanche aux yeux noirs[44].

Но Пушкин, что не учитывается скептиками, прибегнув к завуалированному заимствованию, действовал никак не механически: он употребил *своё* слово — «белянка». Оно распространено в Псковской губернии[45] и по смыслу не совсем идентично французскому *blanche*. Примечательно и то, что в практике поэта это необычное слово больше никогда не встречалось[46]. Можно сказать, что сочиняя *оригинальное* двустишие, он воспользовался метонимической перифразой.)

«Белянка» — ключевая лексема — нуждается в кратком пояснении. Некоторые значения данного слова порой ускользают от комментаторов, и они пишут исключительно «о белолицей, с белой кожей девушке»[47]. Однако встарь так величали и юниц «пригоженьких», «белокурых, светло-русых»[48].

Систематизировав сказанное, можно прийти к определённым выводам — разумеется, гипотетического свойства. Итак, Ольга Калашникова мало походила на традиционную крепостную крестьянку. В сельце Михайловском перед Александром Пушкиным предстала миловидная, в самом, что называется, соку особа отнюдь не робкого десятка. Деревенская Эда была черноглаза и русоволоса; при этом она имела на удивление светлый, почти белый цвет лица.

Немудрено, что лицейский друг Пушкина, Иван Пущин, навестивший опального поэта 11 января 1825 года, сразу остановил взор на дочери управляющего. «Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи, — вспоминал декабрист. — Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений»[49].

Своим «нездешним» ликом девица явно выделялась среди обитательниц «далёкого северного уезда» (*VI, 492)*.

«От изысканных одесских романов, от блистательных светских красавиц, от аляповатых и претенциозных помещичьих дочек — к простой, милой, доброй девушке» — столь тернистый и «восходящий» путь проделал, по убеждению П. Е. Щёголева[50], Александр Пушкин.

Вон там — обоями худыми
Где-где прикрытая стена,
Пол нечинённый, два окна
И дверь стеклянная меж ними;
Диван под образом в углу,
Да пара стульев…

Так описал романтическую келью Пушкина стихотворец Николай Языков, бывавший в Михайловском[51].

Напомним; весталка Ольга Калашникова ежедневно и подолгу трудилась в комнате няни Арины Родионовны, расположенной напротив пушкинской. Когда же начался «крепостной роман», который поэт без долгих, по всей видимости, предисловий превратил в полноценную связь?

В «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина», составленной М. А. Цявловским, точкой отсчёта объявлен декабрь 1824 года[52]. Думается, что датировку авторитетного учёного допустимо слегка, присовокупив «вопросительный крючок» *(VI, 149),* скорректировать. Возможно, *всё* произошло уже в последнюю декаду ноября, вскоре после отъезда из деревни Сергея Львовича Пушкина, который присматривал за сыном, был бдительным «шпионом» *(XIII, 116)*. Между прочим, до начала декабря в сельце отсутствовал и отец девицы, Михайла Калашников[53].

П. Е. Щёголев ничуть не сомневался в том, что Арина Родионовна, ненадолго отложив в сторону чулок и спицы, поспособствовала сближению своего «ангела» с хорошенькой швеёй. Однако наторелый поэт вполне мог обойтись и без сводни.

Амурное приключение не оставило Александра Пушкина равнодушным. Он стал реже посещать тригорских соседок, даже обозвал их (в письме от 4 декабря 1824 года) «несносными дурами» *(XIII, 127)*. А когда в середине декабря в село Тригорское в очередной раз приехал погостить дерптский студент Алексей Вульф, брат барышень, то Пушкин, среди прочего, откровенно поведал знакомцу о завязавшемся «романе». В ответ Вульф, тонкий и циничный знаток предмета, «холодный ремесленник любви» (П. Е. Щёголев), принялся вышучивать сентиментальность питомца муз.

Следствием фривольной беседы стал полемический набросок Александра Пушкина[54], который был написан между 25 и 31 декабря 1824 года[55]. Текстологические наблюдения показывают, что поэтические строчки дались Пушкину не сразу.

Сперва поэт написал:

Смеёшься ты, повеса бойкой,
Что я поломойкой
Пленён…

Потом бумаге был доверен иной вариант стихов:

Смеётесь вы что поломойкой

Пленён я бойкой…

А рядом, на том же листе, зафиксировано: для поломойки…

И наконец Пушкину удалось подобрать более или менее гладкую рифму:

Смеётесь вы, <что> девой бойкой
Пленён я, милой поломойкой… *(II, 422, 942)*.

Стихи не были продолжены, но и в скупых строках черновика автором сказано изрядно.

Бросается в глаза: на всех этапах сочинительства в намечавшемся послании неизменно присутствовала «поломойка», слово *совсем не пушкинское,* инородное, никогда — ни до, ни после гривуазного разговора — в текстах поэта не встречавшееся[56]. Очевидно, Александр Пушкин заимствовал его у Вульфа, и процитировал он «любезного Алексея Николаевича» *(XIII, 162),* следовательно, намеренно. Студиоз из Дерпта, не усматривавший в представителях «хамова племени» себе подобных, беспечно назвал Ольгу Калашникову «поломойкой», и данное уничижительное титулование не пришлось собеседнику по вкусу. Ссориться Пушкин не хотел; взамен этого взял в руки перо и попробовал возразить — для себя и как бы про себя — приятелю стихами. Смысл оных угадывается: «Что ж, Вульф, быть по-твоему: поломойка так поломойка. Но поломойка, согласись, милая; и я пленён ею».

Спустя пару недель в сельцо Михайловское пожаловал Иван Пущин, тоже знатный ловелас. Побывав в комнате Арины Родионовны и разглядев вышивавшую Ольгу Калашникову, он вмиг смекнул, кем является эта броская девица для Пушкина: «Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порождённым исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием».

А дальше друзья, не сговариваясь, повели себя как заправские авгуры: «Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и всё было понятно без всяких слов»[57].

Потом Ольгу и прочих работниц лицейские потчевали наливкой.

Наброском «Смеётесь вы…» и стихами о «белянке» поэт не ограничился. Едва заметное присутствие Ольги Калашниковой

было обнаружено исследователями и в некоторых других пушкинских произведениях михайловского периода.

Например, полагают пушкинисты[58], в переложении элегии Андре Шенье, которое было напечатано лишь в 1916 году:

> О боги мирные полей, дубров и гор,
> Мой Аполлон ваш любит разговор,
> Меж вами я нашёл и Музу молодую,
> Подругу дней моих невинную, простую,
> Но чем-то милую — не правда ли, друзья?
> И своенравная волшебница моя,
> Как тихой ветерок иль пчёлка золотая,
> Иль беглый поцелуй, туда, сюда летая… (*II, 283)*.

«Набросок не окончен, и если уж искать автобиографических приурочений, то нечего далеко ходить, — утверждал П. Е. Щёголев. — Ни к кому другому, кроме как к невинной, простой, милой и доброй Ольге Калашниковой, нельзя отнести это приурочение»[59].

Тот же П. Е. Щёголев, коснувшись щекотливой «темы обольщения невинной девушки», связал с Ольгой Калашниковой фрагменты «Сцены из Фауста», которая была создана в конце мая — июле 1825 года[60].

По мнению Л. М. Аринштейна, «отзвуками любовных встреч с Ольгой» наполнены строфы вольного перевода <«Из Ариостова „Orlando furioso“»>[61]. Эти стихи предположительно датируются январём-июлем 1826 года[62]:

> «Цветы, луга, ручей живой,
> Счастливый грот, прохладны тени,
> Приют любви, забав и лени,
> Где с Анджеликой молодой,
> ……
> Я знал утехи Купидона…» *(III, 16–17)*.

Кстати, в черновом автографе «прелестная дщерь Галафрона» названа опять-таки «милой» *(III, 572)*.

Намёк на нашу героиню (видимо, унаследовавшую от отца некоторые музыкальные способности) слышится и в строфе XLI четвёртой песни «Евгения Онегина», написанной, как и строфа о «белянке черноокой», в декабре 1825 года:

> В избушке распевая, дева

Прядёт, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней *(VI, 90)*.

Когда в 1828 году четвёртая и пятая главы романа вышли в свет отдельным изданием, столичные критики (Б. М. Фёдоров в «Санкт-Петербургском зрителе» и М. А. Дмитриев в «Атенее»), прочитав процитированные «демократические» стихи, сделали большие глаза. Они недоумевали, «как можно было назвать *девою* простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы *девчонками*» *(VI, 193; выделено Пушкиным)* [63].

То-то поразились бы аристархи, проведав, что Пушкин и раньше, вдобавок не единожды, втихомолку грешил и поэтизировал крепостную девку, переиначивая ради этого даже высокие образцы европейской поэзии.

Не будь этих стихов, пришлось бы нам согласиться с В. В. Вересаевым и другими авторами, которые сочли происходившее в сельце Михайловском банальным физиологическим отправлением, «типическим крепостным романом, — связью молодого барина с крепостной девкой»[64]. Но поэтические строки доказывают, что Пушкин *увлёкся* Ольгой; что его «роман» всё-таки не чета «типическим», ибо он вмещал в себя толику «морали», а не сводился единственно к «хфизике»[65].

Вот только обманется тот, кто усмотрит в пушкинском чувстве к Ольге Калашниковой, этакой «крестьянке-барышне», страсть всепоглощающую. Её не было и в помине.

«Мораль» не мешала Александру Пушкину непрестанно отвлекаться от своей Эды, бросать её, переноситься в горячечных думах к другим женщинам, северным и южным, воссоединяться с ними, безумно ревновать их, обращаться к далёким дамам сердца с пламенными посланиями. Он совершал набеги на Тригорское — там «миртильничал» *(XIII, 152)* и спорадически одерживал безоговорочные победы. Словом, «неуимчивого»[66] поэта хватало на всё, он умудрялся оставаться верным всем — и всем в то же время коварно изменял.

А Ольга терпеливо ждала молодого барина в няниной комнате, за уроком.

И частенько дожидалась: её — милую, желанную, доступную в вёдро и ненастье — призывали.

И так продолжалось почти полтора года…

В замкнутом пространстве малолюдной деревни век скрывать связь было немыслимо. В один прекрасный день Михайла и Васса Калашниковы, бесспорно, узнали или хотя бы догадались о

шашнях своей единственной дочери с господином. Но что-то изменить подневольные родители не могли, а может быть, не особо и жаждали: они (в чём мы ещё убедимся) не брезговали прагматизмом.

Со временем молва о пушкинском увлечении простолюдинкой окольными путями достигла и берегов Невы. Обожавший сплетни Лёвушка Пушкин принял самое деятельное участие в оповещении столичной и заезжей публики. «Лев Сергеевич сказал мне, — писал, к примеру, Иван Петрович Липранди, — что брат связался в деревне с кем-то и обращается с предметом — „уже не стихами, а практической прозой“»[67].

«Что было со стороны девушки? Покорность рабы? Или, быть может, преданная любовь? Или — желание извлечь выгоду? Последнее предположение исключается; неискренность, заднюю мысль Пушкин тотчас почувствовал бы: вряд ли простая деревенская девушка сумела бы обмануть его зоркий глаз», — размышлял в начале прошлого столетия Владислав Ходасевич[68].

Будучи последовательным, фанатичным приверженцем «автобиографического метода», он рискнул реконструировать «крепостной роман» и судьбу пассии поэта посредством вдумчивого чтения пушкинских произведений, и прежде всего незавершённой драмы «Русалка» (1826–1832).

Гипотезе В. Ф. Ходасевича, напечатанной в его книге «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924) и параллельно в эмигрантском журнале[69], выпал незавидный жребий. Иначе и быть не могло: слепо доверяя тексту драмы как источнику *реальных* сведений и не зная о существовании некоторых документов, Владислав Фелицианович быстро утратил чувство меры, зашёл в своих предположениях слишком далеко и в итоге наделал массу ошибок. Вооружённые новонайденными бумагами пушкинисты (во главе с П. Е. Щёголевым и В. В. Вересаевым) безжалостно разгромили «фантазии» В. Ф. Ходасевича. Тот попробовал скорректировать позицию и опубликовал в парижских «Современных записках» ещё одну статью[70], где частично признал собственные промахи, но продолжал упорствовать: «Я хотел установить связь „крепостного романа“ с „Русалкой“ и другими произведениями Пушкина — и всё-таки установил её, да так прочно, что сам Щёголев только и делает, что за мной следует, повторяя мои мысли, мои сопоставления»[71]. Однако В. Ф. Ходасевича не услышали ни тогда, ни позже: его версия в истории пушкинистики так и осталась скандальным казусом, непреложным доказательством методологической ущербности «наивного биографизма». Иногда, правда, признаётся, что в гипотезе наряду с грубейшими оплошностями есть и мастерские

психологические ходы, и «удачные» моменты[72], и «тонкие наблюдения»[73].

К «удачам» В. Ф. Ходасевича надо отнести и осуществлённое им «сближение» деревенского «романа» Пушкина с ретроспективными монологами и репликами персонажей «Русалки», которые проясняют характер отношений любовников, Князя и Дочери Мельника, *до* начала драматического действия на берегах Днепра, в эпоху «вольной, красной юности» *(VII, 212)*.

В недалёком прошлом они, Князь и его «милый друг», услаждались «ласками любовными» и, без преувеличения, блаженствовали:

> Когда ты весел, издали ко мне
> Спешишь и кличешь — где моя голубка,
> Что делает она? а там цалуешь
> И вопрошаешь: рада ль я тебе
> И ожидала ли тебя так рано… —

припоминает Дочь Мельника. И потом, в других монологах, добавляет:

> …Я так его любила…
>
> …Я отреклася
> Ото всего, чем прежде дорожила…

Князь полностью подтверждает её речи:

> …Я весел
> Всегда, когда тебя лишь вижу…
>
> И мы — не правда ли, моя голубка?
> Мы были счастливы; по крайней мере
> Я счастлив был тобой, твоей любовью…

Спустя «семь долгих лет»[74] Князь скажет то же самое:

> Здесь некогда [любовь] меня встречала,
> Свободная, [кипящая] любовь;
> Я счастлив был, безумец!..

Мельнику же, отцу «голубки», минувшее представилось так:

Да сколько раз, бывало,
В неделю он на мельницу езжал?
А? всякой Божий день, а иногда
И дважды в день… *(VII, 188, 190, 191, 193, 196, 211, 212, 347)*.

Столь же безмятежная картина запечатлена в черновиках «Русалки».

«Никаких намёков на осложнения внутри романа нет», — констатирует В. Ф. Ходасевич. И отсюда выводит: «Характер отношений князя и дочери мельника более или менее близко воспроизводит и характер <отношений> самого Пушкина с его возлюбленной. <…> Самый роман протекал вполне счастливо. Никаких неладов, так сказать, внутреннего характера предполагать нельзя. Идиллия не омрачалась ни ревностью, ни охлаждением, ни корыстью»[75]. Показательно, что пушкинисты, порицавшие В. Ф. Ходасевича за вольности в обращении с текстом «Русалки», зачастую высказывали схожие суждения о «крепостном романе» поэта.

Нам не дано проникнуть в тайники души крепостной крестьянки Ольги Калашниковой, где, по-видимому, уживалось тогда — как и позднее — всякое. Поэтому удовлетворимся лежащим на поверхности и безусловным: она и покорилась Александру Пушкину, и *ответила* на его чувство. Более того, псковская Эда сумела откликнуться так, что на длительный срок приворожила барина. И ему, и ей — несмотря ни на что — было ладно, уютно, весело. Сей лад, конечно, не тянул на подлинное счастье — резоннее вести речь о приятной свободе от обязательств, о не набивающей оскомину привычке. Следуя ей, Пушкин и «белянка» благодушествовали, предавались утехам и не думали о будущем. Будущего у их «любви» быть просто не могло.

Ещё в 1825 году[76] господа сделали Михайлу Калашникова фактическим управляющим имением Болдино, и он был вынужден периодически наведываться в нижегородское владение Василия и Сергея Львовичей Пушкиных. По каким-то причинам переезд семейства Калашниковых на новое место жительства задерживался. Потом, когда растаяли снега и высохли дороги, пришла пора покидать Михайловское. Начались суетные сборы…

Тогда-то Ольга и сообщила не жалующему весну барину, что она в тягости.

Схожая (но не более того) ситуация описана в пушкинской «Русалке», где накануне разлуки Дочь Мельника призналась

Князю:

Постой; тебе сказать должна я
Не помню что.
……
Для тебя
Я всё готова… нет не то… Постой —
Нельзя, чтобы навеки в самом деле
Меня ты мог покинуть… Всё не то…
Да!., вспомнила: сегодня у меня
Ребёнок твой под сердцем шевельнулся *(VII, 192–193)*.

За окном стоял апрель 1826 года. И над поэтом снова собирались тучи…

Родители Ольги, кажется, пока ни о чём не подозревали — но это обстоятельство было только слабым утешением. Александр Пушкин понимал, что он в одночасье превратился из беззаботного любовника в похотливого «злодея» — того самого, из собственной «Деревни» *(II, 82–83, 514)*. Ему надлежало срочно объясниться с отцом «белянки». А впереди замаячили и наказание поднадзорного за распутство, и тяжёлые, непредсказуемые разговоры с батюшкой Сергеем Львовичем, и хлопоты с нечаянным младенцем.

Собравшись с мыслями, Пушкин придумал-таки схему избавления от напастей[77]. Давешней «моралью» приходилось жертвовать.

Калашниковы оставили сельцо в конце апреля или в самом начале мая. Они двинулись в направлении Петербурга. Там Михайле предстояло получить наставления от господ, Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных, которые незадолго перед тем приехали в стольный град[78]. Оттуда семейство управляющего, уже официально вступившего в должность, чинно проследовало бы в Москву.

О чём толковал Александр Пушкин с Ольгой перед разлукой, какими посулами утешал её, — никто не знает. Денег у поэта тогда не водилось; вместо отступного он вручил вчерашней любовнице запечатанное письмо. По приезде в Первопрестольную крестьянке надлежало спешно отправиться в Чернышевский переулок, где в собственном доме проживал князь П. А. Вяземский, и передать его сиятельству драгоценную эстафету.

Впоследствии князь Пётр Андреевич, готовя к публикации в «Русском архиве» переписку поэта (1874), начертал на подлиннике этого письма: «Не печатать» *(XIII, 493)*. Содержание

послания говорило само за себя:

«Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твоё человеколюбие и дружбу. Приюти её в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится — а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты видишь, что тут есть о чём написать целое послание во вкусе Жуковского *о поле*; но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах.

При сём с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется — а нельзя ли его покаместь отдать в какую-нибудь деревню, — хоть в Остафьево[79]. Милый мой, мне совестно ей богу… но тут уж не до совести» *(XIII, 274–275; выделено Пушкиным)*.

Он натужно шутил, но не лукавил: ему было не по себе, тошно. Это, однако, не помешало поэту предложить П. А. Вяземскому расхлёбывать (вкупе с Ольгой) заваренную в Михайловском кашу. По разработанному Пушкиным сценарию приятель брал на себя труд задержать грузную особу в Москве, где та и разрешилась бы от бремени. Потом выблядка укрыли бы во владениях князя Петра, а Ольга Калашникова как ни в чём не бывало отправилась бы в село Болдино, к обведённым вокруг пальца родителям, — и все концы в воду.

«Видел ли ты мою Эду? вручила ли она тебе моё письмо? Не правда ли, что она очень мила?» — справился Пушкин у П. А. Вяземского в следующем послании *(XIII, 278)*[80]. Оно разминулось с корреспонденцией князя, помеченной 10 мая 1826 года.

Из долгожданного московского письма князя Петра Андреевича поэт сразу понял: его план провалился.

Князь П. А. Вяземский, расписавшись в мужской и сословной солидарности, указал, в свойственной ему манере, на *юридическую* несостоятельность пушкинского прожекта и прямо заявил, что он не намерен впутываться в сомнительное дело: «Какой же способ остановить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца её сделать этого нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своём. <…> Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего Бахчисарайского фонтана, на страх завести новую классикоромантическую распрю хотя с Сергеем Львовичем или с певцом Буянова[81], но оно не исполнительно и не удовлетворительно. <…> Во всяком случае мне остановить девушки (ou peu s'en faut[82]) нет возможности…»

Тут же рассудительный князь настоятельно порекомендовал

Пушкину обернуться дипломатом: «Мой совет: написать тебе полу-любовное, полу-раскаятельное, полу-помещичье письмо блудному твоему тестю, во всём ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда, волею Божиею, ты будешь его барином и тогда сочтёшься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и к общей выгоде».

Крыть логичные доводы, к тому же сопровождённые недвусмысленным воззванием к совести, поэту было нечем.

Но наибольшее огорчение причинили Александру Пушкину другие, начальные строки письма.

Оказалось, Ольга Калашникова почему-то ослушалась барина. Прибыв в Москву, она так и не посетила княжеские хоромы. «Сей час получил я твоё письмо, — сообщал П. А. Вяземский, — но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено мне оно твоим человеком». А следом шло самое для Пушкина прискорбное: «Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим» *(XIII, 276)*.

Всё враз прояснилось.

Поэт не сообщал князю, *кто отец* «очень милой и доброй девушки», однако П. А. Вяземский, едва успев ознакомиться с пушкинским посланием, уже ведал это. Более того, князя Петра заодно просветили насчёт петербургского распоряжения Сергея Львовича Пушкина и точной даты отъезда Калашниковых из Москвы в Болдино. Сделать это столь стремительно мог лишь *тот, кто доставил письмо.* Посыльный был на удивление осведомлённым малым.

Визитёр отрекомендовался «человеком» Пушкина — и князя, видевшего его впервые, сие вполне удовлетворило. Прочее П. А. Вяземского не интересовало, и напрасно.

Пушкин же раскусил, кто ходил в Чернышевский переулок.

Князь докладывал поэту о двух персонах — «управляющем» и «человеке», а на самом-то деле персона была *одна.* В роли курьера выступил Михайла Иванов Калашников[83], ставший говорить о себе в третьем лице. И здесь князь Пётр Андреевич опростоволосился: пробежав пушкинскую цидулку, он что-то спросил у топтавшегося поодаль безымянного «человека» про Ольгу. Тем самым П. А. Вяземский разом выдал и её, и своего приятеля. Калашников уразумел: в принесённом им письме барина Александра Сергеевича речь шла о его дочери. Сопоставив это открытие с уже известными ему фактами и слухами, Михайла обо всём догадался. Семи пядей во лбу для прозрения и не

требовалось: в помещичьих писаниях крепостные девки фигурировали, как правило, в определённых случаях.

Не исключено, что Михайла Калашников отнёс в почтовую контору ответную княжескую депешу; что П. А. Вяземский вручил ему (точнее, «человеку») и звонкую монету — для доставления соблазнённой дочери управляющего.

Так в «крепостной роман» попала страничка из авантюрного. Старый плут, любивший своё чадо, внезапно сменил обличье и обморочил благородных героев.

Смущать князя Петра Андреевича занятными деталями «романа в романе» Пушкин не стал. В письме к нему от 27 мая 1826 года поэт лишь полюбопытствовал, не взял ли помянутый «человек» каких-либо денег. И, закрывая тему, добавил, что отослал этого типа «от себя за дурной тон и дурное поведение». Покарать шельму Михаилу за грехи подлинные и мнимые Александр Пушкин мог разве что на бумаге.

А относительно предложенного князем спасительного «средства» Пушкин меланхолично написал: «Ты прав, любимец Муз, — воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу всё дело» *(XIII, 279)*.

Меморандум не сохранился — или же он не был составлен.

Дабы развеять последние сомнения, Михаиле Калашникову следовало учинить розыск, который, вероятно, был произведён безотлагательно. И, естественно, Ольга быстро во всём созналась.

На следующий день, 11 мая, Калашниковы отправились в нижегородские земли.

То, что началось на исходе 1824 года с лирического «младого и свежего поцалуя» и на весьма высокой ноте продолжилось, завершилось, увы, так, как завершалось почти всегда и у всех. За тривиальный финал романа совестливый Александр Пушкин расплачивался целых десять лет — до самой смерти.

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю *(III, 102)*.

Возможно, в этих стихах, которые сравнивались даже с 50-м псалмом царя Давида[84], незримо присутствует и брошенная на произвол судьбы «белянка».

Глава третья
БЕДНАЯ ОЛЬГА

Мне с каждым днём грустней,
грустней…

Эда

«Село Большое, или Базарное, Болдино, при речке Азанке, или Сазанке, находится на северной полосе Лукояновского уезда, в юго-восточном углу Нижегородской губернии. Оно расположено на пригорке, с пологим скатом по направлению к соседнему селу Ларионову. Избы, как и в большинстве селений этой полосы, крыты соломой, и самое село, благодаря этому, имеет вид бедной глухой деревушки. На горе, среди села, широкая площадь, на которой живописно выделяется помещичья усадьба <…>; рядом с усадьбой высится церковь. Верхнюю часть села можно считать старейшим жилищным пунктом Болдина вместе с примыкающими к ней по склону базарною площадью и улицей. Вокруг Болдина местность степная, безлесная, встречаются лишь небольшие рощицы из дубняка и осинника»[85].

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогой,
За ними чернозём, равнины скат отлогой,
Над ними серых туч густая полоса… *(III, 236)*.

Судя по «Описи имения…», сделанной сразу после кончины С. Л. Пушкина, господский дом — деревянный, крытый тёсом — имел мезонин, стоял на каменном фундаменте. В строении наличествовало 11 «горниц»; был и подвал, тоже каменный[86].

Отныне Михайла Калашников управлял куда более крупным имением, нежели псковское. По данным 8-й ревизии (1833), за чиновником 5-го класса и кавалером Сергеем Львовичем Пушкиным числилась только в Болдине (Сергиевском тож) 391 душа «мужеска полу»[87]. Оброчные мужики занимались хлебопашеством, готовили чёрный поташ из золы сорных трав и соломы, выделывали рогожи, мастерили сани; бабы ткали холсты и полотна.

По «полюбовному разделу» с братом Василием Львовичем, отцу Александра Пушкина принадлежали, помимо половины села Болдина, расположенные неподалёку деревни Львова и Кистенёво (Тимашево тож). Последняя отстояла на 180 вёрст от Нижнего

Новгорода и относилась уже к Сергачскому уезду.

Когда Александр Пушкин писал князю П. А. Вяземскому про «блудного зятя и грядущего барина», Калашниковы уже находились в Болдине. Они постепенно обустраивались; глава семейства, «мужик крепкий» (П. Е. Щёголев), рьяно принялся за труды. Ольга же приходила в себя; вероятно, заглядывала в местную церковь Успения Пресвятой Богородицы; чем-то помогала матери по дому и исподволь готовилась к важному событию. Так ни шатко ни валко минуло несколько недель, промелькнула Троица — и весна незаметно перешла в лето…

В последней четверти XX века сотрудница Государственного архива Нижегородской области Н. И. Куприянова, изучая метрическую книгу болдинского Успенского храма за 1826 год, обнаружила две короткие и важные для науки записи. Мы с благодарностью пройдём заново по указанному исследовательницей пути, кое-где уточняя или дополняя её текстологические наблюдения[88].

Интересующий нас источник имеет длинное название: «Книга данная из Лукояновскаго духовнаго Правления ведомства онаго Села Болдина Успенской церкви части Священника Ивана Матвеева с причтом на 1826-й год для вписания им в оную родившихся, браком сочетавшихся и умерших с тем, чтоб в писании оных и в прочем поступаемо было по прежним о сём предписаниям напечатанным в сей книге в графах прописям неупустительно под опасением в противном случае неминуемаго взыскания и штрафования декабря дня 1825 года».

Открывает потрёпанную «Книгу…» раздел, озаглавленный *«Часть первая о рождающихся».* Здесь, на странице, получившей архивную нумерацию «лист 232 оборот», начинаются записи о младенцах, которые появились на свет в июле 1826 года. Вторая сверху запись имеет порядковый номер 24 и дату 1 июля.

В графе «У *кого кто родился»* значится: «Крестьянина Иакова Иванова сын Павел». И следом добавлено: «Молитвование исправлял и крещение совершил иерей Иоанн Матвеев. При совершении онаго крещения в должностях находились диакон Кирилл Симеонов, дьячёк Яков Иванов, пономарь Василий Фёдоров».

В столбце *«Число крещения»* сообщено: «4», то есть 4 июля.

Далее в графе *«Кто восприемники»,* указано: «Иерей Иоанн Матвеев и г-на Сергия Львовича Пушкина управляющаго Михаила Иванова дочь Ольга».

Вторая запись приютилась в разделе об умерших, на листе 251 (где в общей сложности упомянуто шесть человек). Она датирована 15 сентября, ей присвоен номер 23. В рубрике *«Кто*

имянно умерли» сказано: «Приходскаго дьячка Якова Иванова сын Павел 2-х м<еся>цов». Чуть правее идёт фраза, которая разделена на два яруса и относится также к другому скончавшемуся в ту пору ребёнку (Михаилу, сыну крестьянина Семёна Шарикова): «Без привития оспы»[89]. А в графе *«Какою болезнию»* про младенца Павла (и прочих усопших) по вертикали растянуто прописали: «Натуральною». Это означало, что не было ни акта насилия, ни несчастного случая.

Н. И. Куприянова дала весьма убедительное толкование этим текстам, и её аргументы приняты научным сообществом.

«Как будто бы всё правильно. Но вот что странно, — рассуждает Н. И. Куприянова. — Всего в метрической книге, в части первой — о родившихся в 1826 году — 47 записей. Среди них в первой половине года нет записи о рождении сына у приходского дьячка Якова Иванова, того самого, который присутствовал при крещении Павла. Тем не менее двухмесячный сын у него умер. А главное — крестной матерью младенца Павла, родившегося 1 июля 1826 года, являлась только что приехавшая в Болдино Ольга Калашникова.

Это и позволяет предположить, что первая часть, о рождении сына Павла у крестьянина Якова Иванова, и вторая запись — о смерти двухмесячного младенца Павла у дьячка Якова Иванова относятся к ребёнку, рождённому Ольгой Калашниковой. Влиятельный в Болдине Михаил Иванович <Калашников> прикрыл грех дочери фиктивной записью в церковной книге, где мать записана как крёстная, что давало ей официальное право воспитывать ребёнка»[90].

Итак, теперь нам доподлинно известно, когда именно родился сын Александра Пушкина и Ольги Калашниковой и сколько бедняжка прожил: ему было отпущено судьбой ровно два с половиной месяца. К сказанному исследовательницей остаётся, пожалуй, только прибавить, что младенца, покинувшего чрево матери 1 июля, нарекли в честь святого апостола Павла[91]. И ещё: смерть ребёнка могла быть обусловлена самим его рождением — вернее, датой появления «малютки» на свет.

Высокий уровень детской смертности — одна из бед того времени. Причём это беда всеобщая, внесословная: «благородные» люди страдали от неё немногим реже простолюдинов. И те и другие из поколения в поколение принуждены были смиряться и жить по пословице: «Бог дал, Бог и взял». Оттого, наверное, и пишущие о горьком эпизоде биографии Ольги Калашниковой обычно не задаются вопросом, *почему* она потеряла первенца.

Попробуем всё-таки разобраться в обстоятельствах, приведших к скорбному сентябрьскому финалу. Если исходить из

постулата, что беременность, завершившаяся родами 1 июля 1826 года, протекала без каких-либо отклонений от природной нормы, то получается: Ольга Калашникова к моменту отъезда из Михайловского, сиречь в конце апреля — начале мая, пребывала уже «на сносях», то есть на седьмом или даже на восьмом месяце беременности. Она, как говаривали в старину, дохаживала последние дни. Но утаить внешние признаки такого положения от обитателей сельца, и прежде всего от собственных родителей, было невозможно. Да и послание Александра Пушкина князю П. А. Вяземскому с просьбой сладить *тайные* роды крестьянки в Москве теряло в данном случае всякий смысл. Однако вот загадка: и беременность Ольге удавалось как-то скрывать, и письмо поэт не преминул черкануть и отправить приятелю.

Разрешается головоломка достаточно легко: на рубеже апреля — мая 1826 года срок «чреватости» Ольги Калашниковой был иным — *меньшим.*

Другими словами, по приезде в село Болдино она родила *недоношенного* ребёнка. Следовательно, слабого, болезненного; в условиях тогдашнего крестьянского быта — почти обречённого…

На листе с записью о смерти Павла имеется, однако, ещё один столбец — *«Где погребены».* (Его Н. И. Куприянова не стала исследовать.) В этой графе — опять же вертикально, обобщённо — указано единое место погребения шестерых покойников: «На отведённом кладбище». Данная строка, по всей видимости, ставит точку в многолетней дискуссии о местонахождении могилы сына поэта[92]. Ясно, что младенца Павла, как и всех его соседей по мартирологу, похоронили в болдинском имении Пушкиных, на отводе[93] для кладбища.

(Кстати, согласно местночтимой легенде, впоследствии могилу младенца безуспешно разыскивал граф В. А. Соллогуб, автор «Тарантаса»[94].)

Когда и какими путями сведения о несчастье дошли до отца ребёнка, не установлено. После ссоры с Сергеем Львовичем Александр Пушкин выказывал полнейшее равнодушие к болдинским делам. Даже если разговор поэта с издателем журнала «Новая детская библиотека» Б. М. Фёдоровым (случившийся в Летнем саду 6 мая 1828 года) имеет отношение к нашему сюжету, он ничего не конкретизирует[95]. Сношения с Петербургом Михайла Калашников вёл в те годы через «земских»[96], а сам на Неву, кажется, не ездил. Есть, правда, догадка, что в начале 1828 года камердинером Пушкина в Северной столице был девятнадцатилетний Иван Калашников, брат Ольги, но убедительных тому доказательств пока не представлено[97]. (Да и сам факт пребывания Ивана тогда в

Петербурге ещё ни о чём не свидетельствует.) Поэтому допускаем, что Пушкин узнал печальную правду об *avorton*'е[98] только спустя несколько лет…

«Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями её восторгов. Сие воспоминание потрясло её душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице её»[99]…

Ранняя смерть Павла, вероятно, воспринималась Ольгой и прочими Калашниковыми как ниспосланное свыше наказание за любострастие. Но Бог карающий был единовременно и Богом милующим: блудной дочери управляющего удалось избежать погибельного срама или даже дна болдинского пруда. Лишь домочадцы ведали о псковских грехах *бедной Ольги* — ведали да помалкивали.

Коли порченая барином девица сберегла своё доброе имя — значит, могла уповать на то, что в грядущем ей, крепостной, всё-таки улыбнётся фортуна и воздастся сторицею за мытарства; что её тяжкие утраты рано или поздно обратятся в некий доходный капитал.

Первые годы пребывания в Болдине нашей повзрослевшей и набравшейся уму-разуму героини совершенно не документированы. В неприветливой степной стране, без подруг и песен, рядом с сыновьей могилкой, неприкаянная «поломойка» — ни девка, ни баба, ни вдова — разве что прозябала. Все дни Ольги были серые, типично крестьянские, на один покрой. Похоронив кровинку, она как будто дала обет молчания и тоже схоронилась — за плотно закрытыми дверями дома, за широкой спиной отца.

А разменявший шестой десяток родитель трудился, казалось, не покладая рук. Он вникал во всевозможные тонкости работ и торговых операций; внедрял барщину; ревизовал магазины; следил в вотчинной конторе за приходо-расходной и «памятной» книгами; делал «угощения приезжим по должности Чиновникам»[100]; подбирал рекрутов поплоше для объявленного набора; строго взыскивал с провинившихся православных.

(Правда, иногда Михайла Иванов давал себе некоторую поблажку и по-простецки развлекался, даже закатывал «приёмы» для управляющих соседними имениями[101].)

Львиная доля времени и сил уходила у Михайлы Калашникова на собирание оброчных денег. Он пополнял болдинскую казну «небольшими суммами в течение целого года и деньги высылал <барину> не периодически, а по мере накопления»[102]. Однако тут бахвалиться ему было нечем: цифирь

вопияла, что недоимки росли, а размеры сбираемого оброка неуклонно уменьшались. Так, если за 1826 год «всенижайший слуга и раб» добыл 10 578 рублей 65 копеек, то за 1827-й — уже только 7862 рубля 4 копейки; а за 1828 год обескураженному Сергею Львовичу доставили и вовсе 5515 рублей 77 копеек[103].

Устойчивая тенденция к таянию оброчных сумм была обусловлена целым комплексом причин объективного и субъективного характера. Тут и частые неурожаи; и снижение закупочных цен на зерно[104]; и беспечность владельца[105]; и подспудное противодействие крепостного люда жёсткой (а подчас и жестокой, «тиранической») политике «чужого», присланного помещиком (а не местного) распорядителя. Но особо сказалось отсутствие у Калашникова надлежащих административных навыков: ведь опыта управления каким-либо солидным имением у него не имелось[106].

В пушкинской «Истории села Горюхина» (1830) деятельности («политической системе») заезжего приказчика, облачённого в старый голубой кафтан и напоминающего Михайлу, была дана более чем сдержанная характеристика: «Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того, завёл он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В 3 года Горюхино совершенно обнищало» *(VIII, 140)*. Болдинские крестьяне выразились ещё короче: «У нас харошего распорежения никогда не было» *(XV, 91)*.

Резкое сокращение оброчных сумм болезненно ударило и по самим Калашниковым. Помещичьи «пожалования» управляющему вскоре убавились, стали более редкими. И семейству нет-нет да и приходилось экономничать.

Но ягодки — да ещё какие — были впереди.

В январе 1828 года дочь С. Л. и Н. О. Пушкиных Ольга Сергеевна пошла под венец с чиновником Н. И. Павлищевым[107]. Тот оказался человеком алчным и мелкотравчатым. Николай Иванович сразу же потребовал с родителей супруги выплаты денег, назначенных на её содержание. «По сие время родители ещё ничего не сделали в пользу нашу, — писал Н. И. Павлищев матери 1 июля 1828 года, — и мы с покорностью ожидаем их решения. <…> Скажу вам только, что тесть мой скуп до крайности, и вдобавок по хозяйству несведущ. У него в Нижегородской губернии с лишком тысяча душ; управляет ими крепостной, который, не заботясь о выгодах господина, набивает карман, а барина часто оставляет без гроша»[108].

Новоиспечённый родственник, вкупе с Ольгой Сергеевной, стал настойчиво внушать Сергею Львовичу Пушкину, что его

хвалёный управляющий — отпетый злодей, коего надобно поскорее отрешить от должности. Поначалу владелец Болдина колебался, даже пробовал возражать, но затем сник. Мысль о благотворной *субституции,* о «перемене в министерстве» (*XIII, 146)* постепенно овладела и им.

Спасти Калашниковых или хотя бы отсрочить их падение мог лишь один человек на свете — Александр Пушкин. Он-то — случаются же чудеса! — и прибыл внезапно в Болдино в первых числах сентября 1830 года.

Той осенью от Ольги — «белянки черноокой» — зависело многое.

Глава четвёртая
БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Вопросы долго ждут ответа…

Эда

Правительство давно простило поэта и вернуло в столицы из северной ссылки. А весною 1830 года участь Александра Пушкина решилась окончательно: 6 мая в Москве состоялась его помолвка с *m-lle Natalie Gontcharof*. Долгая, изматывающая матримониальная эпопея завершалась. «Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством — Боже мой — она… почти моя», — подытожил жених в автобиографическом отрывке, датируемом теми же днями *(VIII, 406)*.

По такому случаю расчувствовавшийся Сергей Львович Пушкин выделил сыну «в вечное и потомственное владение» часть нижегородского родового имения — 200 незаложенных крестьянских душ в деревне Кистенёво, неподалёку от села Болдина. 27 июня 1830 года о том была сделана «запись» в Петербургской палате гражданского суда. В составленном документе, в частности, указывалось: «Он, сын мой, до смерти моей волен с того имения получать доходы и употреблять их в свою пользу, так же и заложить его в казённое место или партикулярным лицам; продать же его или иным образом перевесть в постороннее владение, то сие при жизни моей ему воспрещаю, после же смерти моей волен он то имение продать, подарить и в другие крепости за кого-либо другого укрепить…»[109]

Для полного оформления всех бумаг (которое позволило бы заложить даруемое имение и выручить деньги на свадьбу) Александру Пушкину надлежало ненадолго выбраться в вотчину. «На днях отправляюсь я в нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной», — сообщил поэт А. Н. Гончарову, деду невесты, 24 августа *(XIV, 109)*. *И* спустя неделю, 1 сентября, он выехал за московскую заставу. «Его отсутствие, — писал на следующий день Елизавете Михайловне Хитрово князь П. А. Вяземский, — должно затянуться недели на три»[110].

Времена стояли тревожные: по российским просторам разгуливала *Cholera morbus*. Впоследствии Пушкин вспоминал:

«Перед моим отъездом В<яземский> показал мне письмо, только что им полученное: ему писали о холере, уже

перелетевшей из Астраханской г<убернии> в Саратовскую. — По всему видно было, что она не минует и Нижегородской (о Москве мы ещё не беспокоились). <…>

На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!

Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой» *(XII, 309)*.

Прибыв в Болдино, «дворянин коллежский секретарь Александр Сергеев сын Пушкин» тотчас же призвал к себе крепостного человека П. А. Киреева, в соавторстве с коим и сочинил прошение в Сергачский уездный суд. Поэт ходатайствовал «ввесть его», Пушкина, «во владение» двумястами крепостными «мужска пола с жёнами их и рождёнными от них после 7-й ревизии обоего пола детьми, и совсеми их Семействами, Спренадлежащею на число оных двухсот душ в упомянутом Селце <Кистенёво> Пашенною и не Пашенною землёю, с Лесы, с Сенными покосы, с их крестьянскими Строениями и заведениями с хлебом наличными и в земле посеенных, Со скотом, Птицы и протчими Угодьи, и принадлежностями, что оным душам следует и во владении им состояло».

Заключали бумагу собственноручные строки помещика: «К сему прошению Александр Сергеев сын Пушкин 10-го класса чиновник руку приложил. Прошение сие верю подать, по оному хождение иметь и подлинную запись получить человеку моему Петру Кирееву»[111].

Человек сей действовал умело, напористо, и прошение, поданное в уездный суд, было удовлетворено быстро. Уже 16 сентября Александра Пушкина ввели во владение кистенёвскими крестьянами и отобрали у него соответствующую расписку. Тогда же мужики присягнули новому барину на «должное повиновение и послушание»[112]. Тем самым в деле по существу поставили точку; «огончарованный» поэт вполне уложился в намеченные им в Москве сроки.

В «Истории села Горюхина» провинциальная бюрократическая процедура удостоилась таких слов: «Около трёх недель прошло для меня в хлопотах всякого роду — я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками.

Наконец принял я наследство и был введён во владение отчиной…» *(VIII, 129)*.

Пушкинское присутствие в уезде больше не требовалось.

Однако назад, к невесте, он не помчался. Надвигавшаяся с востока, от Волги, холера захватила Нижегородскую губернию. Соседние деревни были уже оцеплены, повсюду на дорогах спешно учреждались карантины. Против своей воли Пушкин почти на три месяца стал узником села Болдина и его ближайших окрестностей. Ограниченный в свободе передвижения поэт оказался в ситуации шестилетней давности. Правда, его вынужденного одиночества на «несносном островке» *(XIV, 121)* не могла ныне скрасить старушка няня[113].

Но зато рядом с Александром Пушкиным, как и в сельце Михайловском, находилась Ольга Калашникова[114]. (Напомним: годом ранее поэт, некогда избавившийся от беременной крестьянки, всё-таки не забыл внести её имя в свой «Дон-Жуанский список»[115].)

Теперь ей было 25 лет.

Они свиделись и как-то объяснились в сентябре, вскоре после приезда поэта в Болдино. По всей вероятности, тогда же Пушкин узнал о судьбе сына. Возможно, Ольга проводила стареющего, уже помышляющего об отцовстве барина к могиле их ребёнка, умершего ровно четыре года назад; по дороге что-то рассказала о рождении и смерти «малютки». Поэтическим следствием этой пронзительной прогулки *à deux*[116] стало «одно из самых грустных стихотворений»[117] Александра Пушкина — «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…».

Оно не печаталось при жизни автора; датируется 1–10 октября 1830 года[118] и содержит в себе унылую картину деревенской «дождливой осени». Участников описанного поэтом действа при некотором желании можно идентифицировать: это приближающиеся к болдинской Успенской церкви властный Михайло Иванов Калашников[119], Ольга и её мать Васса (Василиса), а также упоминавшийся ранее болдинский священник Иоанн Матвеев с поповичем:

> …На дворе живой собаки нет.
> Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
> Без шапки он; несёт подмышкой гроб ребёнка
> И кличет издали ленивого попёнка,
> Чтоб тот отца позвал да церковь отворил,
> Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил *(III, 236)*.

Имело ли свидание поэта с Ольгой Калашниковой *продолжение,* и если продолжение всё-таки было, то какое именно, — вопросы сложные и, по правде говоря, щекотливые.

«Как они встретились или встречались в Болдине в эту осень, знаменитую в творчестве Пушкина? Этот вопрос я оставляю без ответа и даже не рискую строить какие-либо предположения», — благоразумно перестраховался в своё время П. Е. Щёголев[120]. Учёного можно понять: ведь документов или обкуренных и проколотых в карантинах писем с однозначными подсказками не существует.

И поиски ответов (или хотя бы намёков на оные) настырному биографу приходится вести в творческих материалах Александра Пушкина. Там, в черновых и беловых рукописях, есть пища для размышлений и интуиций.

«Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать, — признавался поэт П. А. Плетнёву 9 сентября, в самом начале болдинского сидения. — Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает… <…> Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; ездi верьхом сколько душе угодно, [сиди<?>] пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов» *(XIV, 112)*.

Пушкин сдержал слово: и впрямь «наготовил». Три месяца болдинской осени 1830 года — «период беспримерной творческой активности» поэта[121]. В доме с мезонином он доводил до конца, до характерного росчерка под текстом, старые сочинения и созидал новые; воплощал в жизнь и задуманное ранее, и то, что было навеяно болдинским бытием (последнее для нас наиболее любопытно). Ниже, в ряде пунктов, мы касаемся этой «деятельности неимоверной»[122] только слегка и рассматриваем оную — разумеем одолевавшие Пушкина думы и его произведения — в высшей мере схематично и под определённым углом зрения.

Конечно, избирательный подход легковесен, имеет серьёзные методологические изъяны и обычно не слишком эффективен, но тут он оказывается урожайным. Вот плоды самых поверхностных наблюдений.

I. В ряде произведений, созданных накануне женитьбы, «болдинский помещик» *(XIV, 124)* прощался с былыми возлюбленными. Однако в его сочинениях тех месяцев, в стихах и прозе, пульсирует и антитетическая тема — тема *возвращения к женщине, с которой в прошлом было многое связано*[123]. В рамках заданной установки нам важна именно *встреча,* непреднамеренная и эмоциональная, а не её житейские и прочие последствия (они, кстати, разные).

Евгений Онегин на великосветском балу в Петербурге сталкивается лицом к лицу с княгиней Татьяной N., в девичестве Лариной, чью любовь он некогда отверг.

Что с ним? в каком он странном сне,
Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности — любовь? *(VI, 174–175)*.

Гусарский полковник Бурмин встречает в поместье Ненарадове Марью Гавриловну, над которой жестоко подшутил в дни молодости («Метель»), «Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его…» (*VIII, 84)*.

А «ветреный любовник» Дон Гуан, тайком приехав в Мадрид, вновь обретает давнего «милого друга» Лауру:

Я прямо к ней бегу являться.
……
К ней прямо в дверь… (*VII, 140)*[124].

Чуть ниже мы дополним этот перечень ещё одной, пожалуй, самой выразительной иллюстрацией.

II. Болдинская повесть «Барышня-крестьянка» — умозрительное, без точек над «i», эскизное, вдобавок замаскированное под шутку, но всё-таки приближение к проблеме *крепостной любви.*

Алексей Иванович Берестов, сын помещика, привыкший «не церемониться с хорошенькими поселянками», становится жертвой женского лукавства. Он всерьёз увлекается переодетой барышней Лизой Муромской — «крестьянкой Акулиной», «дочерью Василья кузнеца». «Оба они были счастливы настоящим, — читаем у Пушкина, — и мало думали о будущем».

Не ведая о травести, молодой барин оказывается в отчаянном положении: «Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою…»[125] Когда же отец принуждает его жениться на «уродливой» дочери соседа-англомана, Алексей упорствует и делает-таки дерзновенный шаг: «В первый раз видел он ясно, что он в неё (Акулину. — *М. Ф)* страстно влюблён; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сём

решительном поступке, тем более находил в нём благоразумия. <…> Он написал Акулине письмо самым чётким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут же предлагал ей свою руку» (*VIII, 114, 117, 123)*.

О коллизиях социального неравенства и планиде «молоденьких дур» *(VIII, 105)* из низов повествуется также в «Станционном смотрителе». Не лишено, кстати, интереса замечание В. Ф. Ходасевича об этой повести: «Станционный смотритель имеет немало общего с Мельником. <…> Так это и должно было случиться, потому что „Станционный смотритель“, в некотором смысле, есть вариант „Русалки“. Тогда как последняя должна была в сущности явиться трагедией любовников, в которой трагедия отца составляет лишь эпизод, — „Станционный смотритель“ есть трагедия самого отца. Мне думается, что Пушкин в „Станционном смотрителе“ потому-то и разрешил судьбу любовников так благополучно, что хотел выдвинуть и резко очертить драму отца. То, что несчастие дочери только мерещится станционному смотрителю, а в действительности она счастлива, — всё это лишь подчёркивает несчастие старика»[126].

III. В Болдине шла работа и над «Русалкой» — произведением, в основе которого, на труднодоступной глубине, залегал михайловский «крепостной роман» автора с Ольгой Калашниковой. Примечательно, что Александр Пушкин, пережидая холеру, корпел в «берлоге» *(XIV, 125, 419)* над черновиком первой, самой «реалистической», сцены драмы.

IV. В «Опровержении на критики» поэт вспомнил о том, как в «Евгении Онегине» «простую деревенскую девку назвал *девою*» *(XI, 149; выделено Пушкиным),* за что на него ополчились «псы журнальные» *(XIV, 118)*.

V. Болдинской осенью 1830 года была написана обзорная философическая статья о творчестве Евгения Боратынского; статья, где анализируется, правда, только одно творение «певца Пиров и грусти томной» (*VI, 64)* — легко догадаться какое. «Перечтите его Эду (которую критики наши нашли *ничтожной*; ибо, как дети, от поэмы требуют они происшедствий), перечтите сию простую восхитительную повесть, — настаивал Пушкин, — вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь» *(XI, 186–187; выделено Пушкиным)*.

VI. В длинной и пёстрой галерее женских портретов, созданных Александром Пушкиным в Болдине, узнаваемы, на наш взгляд, два.

Что-то смутно знакомое есть в разбитной девушке Насте, которая «ходила» за семнадцатилетней Лизой Муромской («Барышня-крестьянка»). Настя «была постарше» своей госпожи,

«ветрена» и — обратим на это внимание — являлась «в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии». Любопытно, что в перебелённом автографе повести Пушкин сделал Настю не только важной персоной в *Кистенёвке,* но и певуньей *(VIII, 111, 668, 671–672)*.

А Параша из «Домика в Коломне», «девица без блонд и жемчугов», в «наряде простом», — просто вылитая «белянка черноокая»[127]:

Была, ей-ей, прекрасная девица:
Глаза и брови — тёмные как ночь,
Сама бела, нежна, как голубица…

В правленом беловом автографе имеется иной вариант последнего стиха:

[Как снег] бела, нежна как голубица…

Через десяток строф — важное, и снова как будто списанное с «белянки», дополнение к портрету Параши:

Из-за ушей змиёю кудри русы…

К тому же «простая, добрая» Параша бойка, обходительна с мужественным полом и питает слабость к пению:

И пела: *Стонет сизый голубок*,
И Выйду ль я, и то, что уж постаре,
Всё, что у печки в зимний вечерок[128]
Иль скучной осенью при самоваре,
Или весною, обходя лесок,
Поёт уныло русская девица…

(К, 86, 89, 372, 382, 384; выделено Пушкиным).

VII. Завершим тенденциозное обозрение стихотворением *«Я* думал, сердце позабыло…» — ещё одним *возвращением,* по части архитектоники родственным пушкинскому шедевру «Я помню чудное мгновенье…» (1825).

Первый вариант произведения создан вскоре после приезда поэта из Болдина в древнюю столицу, во второй половине января

1831 года[129]. По логике вещей, этим строчкам должно было предшествовать некое *rendez-vous,* романтическое свидание, однако такого эпизода в биографической хронике Александра Пушкина не зафиксировано[130]. Высказано мнение[131], что набросок адресован не какой-то «неизвестной девушке» (так иногда сообщается в комментариях), а вполне конкретной особе — Ольге Калашниковой[132]. Это мнение и нам кажется довольно правдоподобным.

В трудночитаемом черновике послания можно разобрать такие, к примеру, стихи:

Я думал — сердце позабыло
Способность лёгкую страдать
Я говорил: что прежде было
Тому во век уж не бывать
Уснули тайные печали
Смирились пылкие <?> мечты
И вот опять затрепетали
И предо мной явилась ты[133]
Полу<?> <расцветшая> <?> [младая]
Блеснуть готовая в ти<ши>…

Тут же — пробы более интимной интонации и напоследок многозначительная хронотопическая вешка:

Тогда ли милая тогда ли…

Я говорил: остыло…

Была явиться ты должна…

Как ангел прелесть молодая

[Полурасцветшая в тиши]…

В данном случае «тишь» — антитеза «улиц шумных» *(III, 194),* города. «В тиши» всё некогда началось: там «милая» «полурасцвела». На круги своя, в «тишь», где «милая» сызнова «блеснуть готова», всё и возвратилось.

А далее идут строки не совсем «платонические» — пограничные, почти чувственные, резонно исключённые впоследствии, при переадресовке стихотворения, из беловика:

Гляжу предаться не дерзая
Влеченью томному души…

(III, 1008–1010).

У лирического героя главное *уже произошло* раньше, «прежде было». И поэтому не нужны здесь и сейчас сакраментальные осадные хлопоты — селадону предстоит сделать только один шаг к «милой», чтобы вернуться от томного наваждения к вожделению, от бесплотного эротизма к *status quo*…

Сдаётся, что в Болдине Александр Пушкин «дерзнул» и подобный шаг вспять сделал[134]. И холерной осенью 1830 года барин и крестьянка Ольга волшебным, казалось, образом перенеслись на пять-шесть лет назад, в сельцо Михайловское; отчасти даже прониклись былыми настроениями.

И вот опять затрепетали…

Эти «неостывшие» настроения эхом отразились в некоторых пушкинских произведениях. Присутствие в них Ольги Калашниковой, преображённой творческим актом художника, представляется или очевидным, или весьма вероятным.

Однако воссоздать в подробностях психологическую атмосферу беззаботного «крепостного романа» любовники не смогли, да, по-видимому, не очень-то и пытались. В «чудной стране грязи, чумы и пожаров» *(XIV, 114, 416)* они сполна воспроизвели разве что прежний «младой и свежий поцелуй».

Александр Пушкин увлёк свою давнишнюю подругу в изменившуюся реку. Сам он ходил в женихах, был без пяти минут супругом — и мечтал об обладании *Natalie* с Никитской. А узнавшей эту новость Ольге надлежало не только щеголять маской нежной Эды, тайком ревновать и горевать об ускользающем курчавом барине, — но и думать о собственном завтрашнем дне, о скором закате, обо всех Калашниковых, родителях и братьях.

А коли нет на свадьбу уж надежды,
То всё-таки по крайней мере можно
Какой-нибудь барыш себе — иль пользу
Родным да выгадать…

(VII, 187).

Отец мудр, он души в ней не чает и худого не присоветует. И быть вечно ждущей увядающей «белянкой» ей не хотелось. Так что в господский «печальный замок» *(XIV, 115, 417)* наведывалась меняющаяся, *деловитая* Ольга: довольствуясь настоящим, она не упускала из виду и будущее. Там за неё — и, конечно, за родню — должны предстательствовать и месяцы пылких страстей, и могилка младенца Павла.

> «…Не хочу быть чёрной крестьянкой,
> Хочу быть столбовою дворянкой»
>
> *(III, 536).*

В общем, болдинская «реконструкция» михайловского сюжета оказалась метафорой *прощания.*

В Болдине Александр Пушкин дал клятвенное обещание «всегда делать милость» *(XIV, 165)* семейству Калашниковых. Для Михайлы и остальных эти слова барина были пределом мечтаний: они обрели заступника.

Погашение долгов перед Ольгой началось уже 4 октября 1830 года, то есть вслед за посещением местного погоста. И началось сразу с самого дорогого (после, естественно, женитьбы) подарка, который мог преподнести помещик своей крепостной. «Господин 10-го класса Александр Сергеевич Пушкин» составил — вероятно, не без участия нашей героини[135] — «домовую отпускную». В документе значилось, что «дворовая девка Ольга Михайловна дочь Калашникова» отпускалась им «вечно наволю»[136]. Данную бумагу поэту предстояло согласовать с Надеждой Осиповной Пушкиной, которой принадлежало семейство Калашниковых[137]. После материной конфирмации бесценную грамоту надо было препроводить обратно, в Лукояновский уездный суд, для завершения всех формальностей.

Покончив с «отпускной», барин, которого болдинские мужики величали титулом «Ваше здоровье» *(XIV, 123),* вернулся к письменному столу. «И дождь, и снег, и по колено грязь» *(XIV, 118)* — всё располагало к неистовому творчеству. Небывалым вдохновением тех недель Александр Пушкин до какой-то степени был обязан и Ольге.

Прерывая бумагомарание, он дважды пробовал вырваться из Болдина, но терпел неудачу и возвращался. А тем временем невеста заподозрила неладное; она полагала, что виною задержки Пушкина в деревне была отнюдь не холера, а «княгиня Голицына»[138]. И суженому пришлось успокаивать Наталью

Николаевну, даже прилагать к отправляемым в столицу письмам оправдательные «документы» *(XIV, 127, 129, 420–421)*.

«22 ноября нижегородский губернатор Бибиков „имел счастие донести“, что холера в губернии более не наблюдается»[139]. И на исходе месяца, числа 29-го[140], поэт расстался с «островом, окружённым скалами» *(XIV, 115, 417)*.

Он двинулся степью навстречу карантинам.

Миновав их и оказавшись в Москве, Александр Пушкин менее чем за месяц до венчания набросал вчерне стихотворение «Я думал, сердце позабыло…», коим лишний раз подтвердил собственную стратегическую формулу:

Прошла любовь, явилась Муза…

(VI, 30).

На пороге нового этапа своей биографии Ольга Калашникова, пока ещё крепостная, по-видимому, попала в общество избранных — тех, кому были посвящены «Прощание», «Для берегов отчизны дальной…», «Заклинание», строфы «Евгения Онегина»…

Глава пятая
«СТОЛБОВАЯ ДВОРЯНКА»

В ней Эды прежней нет и тени…

Эда

«В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться, — признался Александр Пушкин Н. И. Кривцову 10 февраля 1831 года. — К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние рассчёты. Всякая радость будет мне неожиданностью» *(XIV, 151)*. Спустя неделю, 18 февраля, в московской церкви Вознесения Господня, «что на Царицыной улице», поэт обвенчался с «девицей Наталией Николаевной Гончаровой»[141].

В Болдине после пушкинского отъезда жили своими, сельскими заботами и горестями. Забот у Калашниковых «в чужой стороны» *(XV, 17)*[142] и так всегда хватало, — а тут к ним добавилась ещё одна. С зимы 1830/31 года она стала постоянной темой вечерних разговоров стариков. В беседах родителей всечасно упоминались дочь и соседний город Лукоянов.

Однажды глава семейства узнал там, в уездном городе, кое-что сугубо важное. Оказывается, в конце холерного года в Лукоянов из Нижнего Новгорода переехал некто Павел Степанович Ключарёв. Ему — дворянину, вдовцу, имевшему семилетнего сына, — было около тридцати пяти, служил он дворянским заседателем земского суда[143]. Пронырливый Михайла поспешил свести с титулярным советником[144] знакомство и, к великой радости, выяснил, что у того «есть душ 30 крестьян в Горбатовском уезде» *(XIV, 235–236)*.

Сколько ни колеси по губернии — более подходящей партии для Ольги не найти. И одинокий помещик Павел Степанович, со своей стороны, узрел в брачном союзе с дщерью управляющего заманчивые перспективы. Словом, солидные мужи, обстоятельно переговорив и поразмыслив, готовы были ударить по рукам. Но свадьбе препятствовало крепостное состояние Ольги Калашниковой: её «отпускная», составленная почти полгода назад, покуда не вернулась в Болдино.

О причинах столь долгой заминки никто не ведал[145]. И, опасаясь упустить престижного лукояновского кавалера, Калашниковы решились напомнить своему господину о давно

обещанной им «милости». Письмо Михайлы Иванова и его дочери к Александру Пушкину было адресовано в Москву и помечено 17 мая 1831 года.

С долей условности данную дату можно считать исходной точкой иных, качественно новых — в чём-то более простых, а в чём-то и более сложных — отношений Пушкина и Ольги[146]. Художественной реакцией на сопутствующие этим отношениям коллизии вскоре стало одно из самых известных пушкинских произведений.

В Первопрестольной письмо не нашло барина: он двинулся с авантажной *Natalie* в Северную столицу. Туда и переправил болдинскую эпистолу приятель поэта, Павел Воинович Нащокин. «Посылаю тебе письмо из твоей деревни, которого я виноват ненарочно распечатал», — писал «Войныч» 20 июня *(XIV, 179)*. Так что Пушкин ознакомился с содержанием челобитной только в середине двадцатых чисел июня, когда ситуация в Лукояновском уезде изменилась.

Ознакомился — и, видимо, призадумался.

Письмо было начертано «писарской рукой»[147]. Первую его половину надиктовал Михайла. Он доложил Пушкину о поступивших к взысканию векселях, предложил увеличить сумму оброка, заикнулся о «пожаловании» себе, многогрешному, принесённых кистенёвскими крестьянами барину «на поклон» 89 рублей. «Ваш милостивого государя покорный слуга и раб. Михайло Калашников», — приписал управляющий собственноручно в конце этой части послания.

Затем настал черёд Ольги. Вероятно, ею руководил отец. Вот как зафиксировал деревенский грамотей поток сбивчивой женской речи:

> «Милостивый государь. Александр Сергеевич.
>
> Осмеливаюсь вас утруждать и просить моею нижайшею прозбою. Так как вы всегда обещались свою делать нам милость всему нашему семейству, то и прошу вас милостивый государь не оставить зделать милость брату Василью попросить матушку. Я в надежде на вас что вы — всё можите зделать и упросить матушку свою за что все прольём пред Вышним тёплые молитвы; — я о себе вас утруждаю естли милость ваша, засвидетельствовать её вашей милости неболшова стоит, а для меня очень великого состовляит, вы можите упросить матушку; нашу всю семью к себе и тогда зделаите свою великую милость за что вас и Бог наградит как в здешней жизни, равно и в будущей. Не

оставте милостивый государь явите милость свою вашим нижайшим рабам вашей милости известно что ваша матушка не очень брата любит, то вы можите всё зделать не оставте батюшка вашу нижайшую рабу всегда вас почитающею и преданнейшею к вам! Ольгу Калашникову».

Суфлировавший дочери Михайло счёл за благо заключить письмо своими каракулями: «Зделайте милость её засвидетельствовать мне сказали в надворном суде неболшее будет истоить не оставти батюшка»

(XIV, 165–166).

Таким образом, в коротком тексте Ольга Калашникова употребила слово «милость» (и производные от него) десять раз. Она умоляла всемогущего благодетеля побыстрее «засвидетельствовать» её «отпускную», но этим отнюдь не ограничилась. Заодно дочь управляющего, напомнив Александру Пушкину о недавних болдинских обязательствах, попросила его взять к себе от Надежды Осиповны любезного брата Василия Калашникова[148], а ещё лучше — всё их семейство чохом[149]. «По неистребимой крестьянской привычке, — полагает Н. И. Куприянова, — просила <Ольга> больше, чем надеялась получить»[150]. Указанными пунктами содержание её послания фактически исчерпывалось. В нём не было ничего, кроме откровенной корысти.

Хватило бы тогда Калашниковым терпения ещё на неделю — и не выдала бы себя с головой Ольга подобной цидулкой.

Через несколько дней после отправки меркантильного письма, 25 мая 1831 года, в Лукояновскую почтовую контору доставили из Москвы пакет на имя Михайлы Калашникова. Внутри пакета была «отпускная» его дочери, засвидетельствованная статской советницей Надеждой Пушкиной, владелицей псковского сельца Михайловского[151].

И тотчас «пошла писать губерния», засеменил по присутственным местам с подмазками для чернильных душ болдинский управляющий…

В ходе делопроизводства возникло собрание бумаг, которое было озаглавлено: «Дело № 2756 о представлении отпускной отпущенницы Пушкина дворовой девки Ольги Михайловой Калашниковой. Началось 2 июня 1831, решено того числа»[152].

Открывает помянутое «Дело» прошение нашей героини:

«Просит отпущенная вечно наволю от Господина 10-

го класса Александр<а> Сергеевича Пушкина дворовая девка Ольга Михайловна дочь Калашникова.

А о чём тому следуют пункты…

1. 25 число майя месяца сего 1831 года с московскою почтою от означенного господина моего чрез Лукояновскую почтовую Контору прислан на имя отца моего Михайлы Иванова Калашникова конверт со вложением документов, отправленной из Москвы как по надписе на том конверте значит 20 того ж майя в котором конверте была домовая отпускная данная мне оным Господином моим писанная 4 октября прошлого 1830 года, которую прилагая дело в орегинале Всеподцанейше прошу к сему Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества Указом повелено было на моё прошение с отпускною в Лукояновском уездном суде принять и учиня неотпускной что явлена подлежащую подпись возвратить мне оную поступя в том по праву законов прошения.

Всемилостивейший Государь! Прошу Вашего Императорского Величества о сём своём прошении решение учинить. Июня дня 1831 года. К поданию надлежит в Лукояновский уездный суд. Сие прошение вчерне и набело писал оного суда канцелярист Пётр Андреев сын Попов вместо просительницы Ольги Калашниковой за неумением грамоте и по личной прозьбе руку приложил губернский секретарь (*подпись*)»[153].

Наложенная на Ольгино прошение резолюция гласила: «По слушании приказали прошение в повытье отдать, а представленную при нём отпускную записать в крепостную книгу и по учинении над ней, что явлена надлежащая надписи просительнице Михайловой возвратить с роспискою, а дело после решением к хранению в архив отдать. Подлинное приказание скреплено в журнале. С подлинного читал повытчик Васильев»[154].

Тогда же, 2 июня, в журнал Лукояновского уездного суда занесли:

«Прошение отпущенницы от господина 10 класса Александр<а> Сергеевича Пушкина дворовой девки Ольги Михайловой Калашниковой, при котором представила отпускную вышеозначенным господином Пушкиным к явке. Приказали: прошение в повытье отдать и, хотя по приложенной отпускной от написания

> её протекло почти 8 месяцев, но по уважению тому, что она от дателя её господина Пушкина через Лукояновскую почтовую контору к отцу отпущенницы прислана 25 мая 1831 года, то её записать в книгу и, учиня на ней, что явлена, подлежащую запись с описанием росту и примет отпущенницы[155], выдать оную ей с роспискою»[156].

«Отпускная Ольге Калашниковой была утверждена в уездном суде против всяких правил: написана давно, а главное, подписана не владельцем „дворовой девки“, — констатирует Н. И. Куприянова. — Но нашли ходы-выходы Михайла Калашников и его красавица дочка»[157]. Допускаем, что в закулисных махинациях принял участие и разохотившийся жених, к тому времени уже заимевший в Лукоянове кое-какие связи.

Так Ольга в 26 лет от роду стала вольноотпущенной. И путь к её бракосочетанию с титулярным советником Павлом Ключарёвым был открыт.

Венчание произошло спустя три с половиной месяца, 18 октября 1831 года, в воскресенье, в болдинском храме Успения Пресвятой Богородицы. Этим числом помечена пространная запись в церковной метрической книге:

> *«Кто имянно венчаны*. Осьмого на десять число Нижегородской губернии Горбатовской округи села Новинок помещик, а ныне в городе Лукоянове при земском суде член дворянского заседателя титулярный советник Павел Степанов Ключарёв, села Болдина г-на Сергия Львовича Пушкина управляющего и дворового его человека Михайлы Иванова Калашникова, с вольноотпущенною дочерью девицею Ольгою, жених вторым, а невеста первым браком.
>
> *Кто были поручители, или поезжане*. Города Лукоянова титулярный советник Сергий Дмитриев сын Сапожников, того ж города титулярный же советник Василий Сергиев сын Травницкий, села Болдина господина Сергия Львовича Пушкина управляющий Михайла Иванов Калашников, Гаврила Михайлов Калашников же.
>
> Сей брак по учинению наперёд узаконенных обысков венчали и подписались священник Иоанн Матвеев, диакон Кирилл Симеонов, дьячёк Андрей Николаев, пономарь В. Фёдоров»[158].

Ольга обвенчалась в один год с Александром Пушкиным.

Отныне, согласно узаконениям Российской империи, она становилась (по завершении надлежащей процедуры) дворянкой, титулярной советницей. Хотя дворянство «по случаю» не очень-то и котировалось, обладательница такового имела положенные сословные привилегии. В частности, Ольга Ключарёва получала право на титул *ваше благородие* и предикаты: *госпожа, милостивая государыня* и *сударыня*[159]. Формально она была равной с Пушкиным. Однако и это ещё не всё: вчерашняя «дворовая девка» сделалась помещицей Горбатовского уезда Нижегородской губернии.

Короче говоря, вышедшая в люди Ольга превратилась в главу и «визитную карточку» крепостного семейства Калашниковых.

Наутро после свадьбы всячески довольный Михайла собственноручно доложил Александру Пушкину:

> «Милостивый государь Александр Сергеевич,
>
> Зная ваши великие милости, не заме<д>лю как перед Богом я вас благодарить. Слава Богу судба хотя с великим трудом кончина моей дочери. Сего октября 18 числа повенчали, титулярный советник Ключарёв и есть душ 30 крестьян в Горбатовском уезде а ныне служить в Лукоянове в земском суде заседателем дворянским…»
>
> *(XIV, 235–236).*

Жительствовать, «плодиться и размножаться» (Быт., 1, 22) молодые отбыли в город Лукоянов, к супругу.

Сестра Пушкина О. С. Павлищева, конечно, заблуждалась, утверждая, что болдинский управляющий (она именовала его «Калачников») выдал свою дочь замуж «с порядочным приданым»[160]. Обманулись и Калашниковы, сделав ставку на подвернувшегося мелкопоместного чиновника. Гименей сыграл с ними злую шутку.

Прозрели они скоро, можно сказать — почти сразу.

Почти сразу выяснилось, что титулярный советник блефовал: никакого *собственного* имения у Павла Степановича не было. Да, он обладал клочком земли (29 десятин) в селе Новинки Горбатовского уезда, — но обладал на пару со своим братом Александром. А вместо 30 объявленных ранее душ в наличии имелось лишь 19 (что тянуло на четыре тягла[161]), и опять же в совместном с родственником владении[162]. Да и эти жалкие оброчные души были заложены-перезаложены, а проценты по закладной в ломбард испокон веку не вносились. К тому же Ключарёв задолжал многим обывателям в городе. Иными словами, он мало чем отличался от нищего. «Дочь толки тем

несчастлива что ничего нет у него что было всё описано то теперь при должности живуть кое как а без должности хотя по меру ходи», — сокрушался Михайла Калашников в письме Александру Пушкину от 15 марта 1832 года *(XV, 17)*. (Кстати, поэт той весной работал над беловой рукописью «Русалки»[163].)

Открылось и другое: Павел Степанович оказался горьким пьяницей[164]. Вскоре он бросил службу, и семье, лишившейся последнего источника существования, пришлось вернуться из Лукоянова в Болдино. Ключарёвы превратились в нахлебников управляющего. Между супругами начались раздоры, в которых Ольга частенько брала верх. Ни она, ни Павел Степанович и не помышляли о ладе в доме, не алкали единодушия. Так что прочным и счастливым их брак не стал — получилось только зыбкое и нервное сожительство.

У Михайлы тогда тяжело заболела жена. «Того и глежу что оставить» — так он оценивал состояние старухи Вассы в 1832 году *(XV, 17)*[165]. Плохи были и дела служебные, хозяйственные. Хлеба ежегодно урождались скудные. Перезаклад кистенёвских крестьян двигался черепашьим шагом. Со сбором оброка в принадлежащей Александру Пушкину части деревни Калашников ещё кое-как справлялся, но в Болдине он, несмотря на все уловки и крутые меры (доходило до привлечения земской полиции), терпел неудачу за неудачей. Крестьяне изнемогали и собирались «идти в С. Петербург», жаловаться на изверга «господину милостивому государю Сергею Львовичу» *(XV, 91)*. Беды, словно калики перехожие, обычно бродят гурьбой: в ту же пору «плут земской» настрочил на Михайлу «донос» *(XV, 17)*, а на селе случился пожар, сгорело четыре дома.

И находившийся в «большом затруднении»[166] Сергей Львович Пушкин, подстрекаемый Павлищевыми, перешёл от порицаний и грозных ультиматумов к решительным действиям. Он вплотную озаботился поисками более смышлёного и добропорядочного наместника.

Отставной чиновник П. С. Ключарёв порою протрезвлялся и отлучался из Болдина в Горбатовский уезд, пробовал что-то сделать для спасения Новинок (которые выставлялись на торги), однако неизменно возвращался оттуда с пустыми руками. И однажды бедствующие супруги — возможно, по инициативе Ольги — воззвали к покровителю Калашниковых. «По-видимому, уверенность этого семейства в безотказности и великодушии поэта была беспредельной, раз они осмелились обратиться к нему с подобной просьбой», — заметила современная исследовательница[167].

11 января 1833 года Павел Степанович Ключарёв от имени (и

по поручению?) своей жены адресовал Александру Пушкину душещипательное, с «канцелярским словоизвитием» (П. Е. Щёголев), письмо такого содержания:

> «Милостивый государь! Александр Серьгеевич.
>
> Взяла ещё смелость бесспокоить Вас сими строчками, с коими прибегаю к вашему благодетельному покровительству, и будучи уверена в Вашей благотворительной душе, которая истинно создана от Бога, чтоб творить добро людям тем, которые просят руки помощи, и я себя считая участницею оных, не отринте меня, с усердно к Вам прибегающей прозьбой. Теперича срок наступил в продажу, с акционнава торгу, крестьян моего мужа, за которых должно мне взнести 2000 тысячи[168] рублей, за 15-ть душ мужеска пола. Я не имею даже и двадцети рублей, буди же лишусь оных, то совершенна буду без куска хлеба. Одна толька и есть надежда на Вас, милостивый государь, Александр Серьгеевич, Вы можите навек меня осчастливить своим благотворением; за что я буду просить со слезами Всемогущего Творца за сниспослание Вам всех блах, чего Вы от Бога желайте. Могу Вас смело уверить, тем что есть свято, когда я их выкуплю на своё имя, потому что мой муж отдал их мне в полное распоряжение, и когда Вам случится надобность в деньгах, то я тогда их заложу в Апекунской совет и получа деньги, могу Вам с благодарностию доставить. Итак прошу Вас не оставить меня вашим милостивым ответом, я буду льстить себя надеждою, что сии строчки прочтены будут Вами, ответом Вашим прошу покорнейше уведомить отца моего.
>
> И наконец ограничиваюсь к Вам с истинным моим почтением и преданностию покорная к услугам Ольга Ключарёва.
>
> *Генваря 11-го дня 1833-го года. С<ело> Болдино» (XV, 41–42).*

Поэт получил данное послание в Петербурге. По всей видимости, Пушкин, распознав «мужскую руку»[169], догадался, кто выводил слезливые строки. Откликнулся он быстро, но его ответ (адресованный Михайле Калашникову) был неутешительным для Ключарёвых[170]. Правда, Александр Сергеевич пообещал заехать в обозримом будущем в Нижний Новгород и имение, однако просьбу о деньгах отклонил, а само

письмо из Болдина назвал «кудрявым». Очевидно, у него при чтении *chef-d'œuvre*'а произошло разлитие желчи.

Почувствовав это, Ольга постановила действовать впредь по-иному — тоньше, с меньшим размахом. Ей надо было разжалобить раздражённого Пушкина, подвигнуть-таки бывшего любовника на благотворительность и прочие пользительные действия — и не потерять при этом его расположения окончательно. Тайком от мужа Ольга подговорила конфидента — брата Гаврилу, который служил тогда конторщиком при болдинской вотчинной конторе[171], — соорудить ещё одно письмецо в столицу.

В заговоре участвовал и отец. Продумывая всякое слово, сверяясь с пушкинским текстом и стараясь ничего не упустить, они сочинили 21 февраля дипломатичную и сентиментальную эпистолу.

Сперва, после этикетных расшаркиваний, новообращённая дворянка принесла в жертву репутацию никудышного супруга:

> «Милостивый государь Александр Сергеивич,
>
> Я имела счастие получить от вас письмо, за которое чувствительно вас благодарю что вы не забыли меня находящуюся в бедном положении и в горестной жизни; впродчем покорнейше вас прошу извинить меня что я вас беспокоила насчёт денег, для выкупки моего мужа крестьян, то оные не стоют чтобы их выкупить, это я сделала удовольствие для моего мужа, и стараюсь всё к пользы нашей но он не чувствует моих благодеяний каких я ему не делаю, потому что он самый беспечный человек, на которого я ни надеюсь и нет надежды иметь куска хлеба, потому что какие только могут быть пасквильные дела то всё оное есть у моего мужа. Первое пьяница и самой развратной жизни человек; у меня вся надежда на вас милостивый государь что вы не оставите меня своею милостию, в бедном положении и в горестной жизни, мы вышли в одставку и живём у отца в Болдине, то и не знаю буду ли я когда покойна от своего мужа или нет…»

И тут, буквально на середине фразы, Ольга сменила тему и обратилась к более значимым для неё и остальных Калашниковых материям:

> «…а на батюшку всё Серьгей Львович поминутно пишит неудовольствия и строгие приказы то прошу вас милостивый государь защитить своею милостию его от

сих наказаний; вы пишите что будите суда или в Нижний, то я с нетерпением буду ожидать вашего приезда, и о благополучно<м> пути буду Бога молить, о себе вам скажу что я во обременении и уже время приходит к разрешению, то осмелюсь вас просить милостивый государь, нельзя ли быть восприемником, естьли вашей милости будет не противно хотя не лично, но имя ваше вспомнить на крещении».

Финальные же строки Ольгиного послания способны были вызвать у Александра Пушкина грустную усмешку:

> «О письмах вы изволити писать, то оные писал мне мой муж, и не понимаю что значут кудрявые, впродчем писать больши нечего, остаюсь с истинным моим почитанием и преданностию известная вам, — [172]
>
> *Село Болдино. Февраля 21 дня 1833 года» (XV, 49–50)*[173].

Сударыня с квазиромантической вуалью («известная вам») не могла взять в толк, каким образом бумажные письма становятся вдруг «кудрявыми». Зато она прекрасно знала, что восприемники, в том числе заочные, делают, по обычаю, подарки роженицам и младенцам. Разумела Ольга и то, что никакие, даже самые щедрые, гостинцы не будут в радость, если её отец лишится должности управляющего. Отправить же Калашникова в отставку раздосадованные господа могли, увы, со дня на день, и посему брюхатая титулярная советница горячо молила покровителя побыстрее добраться до Болдина — дабы тот здесь, на месте, как-то обелил гонимого Михайлу, предотвратил близящийся крах семейства.

Три письма направила она Александру Пушкину после памятной болдинской осени 1830 года, — и в каждом из них были только очередные назойливые просьбы. Значение этих женских писем *для русской литературы* трудно переоценить; самой же Ольге они принесли гораздо больше вреда, чем пользы.

В конце зимы 1832/33 года уснул навеки пасынок Ольги Ключарёвой, девятилетний Михаил[174]. А вскоре, в первый день апреля, она разродилась. Появившемуся на свет мальчику дали имя недавно умершего. В метрической книге болдинской Успенской церкви, в графе *«У кого кто родился»*, записали 1 апреля: «Титулярного советника г-на Павла Степанова Ключарёва вторым браком законной жены ево Ольги Михайловой Калашниковой сын Михаил». В столбце же *«Кто были*

восприемники» значилось: «Титулярный советник Александр Сергеевич Пушкин, полковника Николая Николаевича Анненкова жена Евдокия Васильевна»[175].

Судя по этому документу, поэт удовлетворил просьбу Ольги. Сверх того, тороватый Александр Пушкин отписал Михайле Калашникову, чтобы тот оставил себе часть собранного оброка; сие означало прибавку к жалованью. «Получил от вашей милости письмо, — жеманно отвечал управляющий 17 апреля 1833 года, — в котором изволите писать чтобы я взял жалованья, то я как могу без воли вашей себе положить сколько вашей милости пожалует я всем доволин сим буду ждать приказание…» *(XV, 60)*. На какой сумме сошлись стороны и когда это произошло, мы не знаем.

Одним словом, февральское письмо Ольги Ключарёвой возымело действие. Однако главные надежды Калашниковы связывали всё же с приездом Александра Пушкина в Болдино.

Управляющий и его домочадцы не могли знать, что самое для них худшее уже стучится в дверь. 27 июня Н. О. Пушкина, будучи в Петербурге, уведомила дочь: «Наконец-то нашли мы превосходного Управителя для Болдина, скоро ждём его, но не говори то Петрушке»[176]. Надежда Осиповна осторожничала: она допускала, что пребывавший в Варшаве у Павлищевых лакей Петрушка, то есть Пётр Михайлов Калашников, загодя предупредит свою родню об опасности.

«Жизнь моя в П<етер>Б<урге> ни то ни сё, — откровенничал Пушкин в письме П. В. Нащокину в конце февраля 1833 года. — Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, [без<заботной> <?>] вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — всё это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения.

Вот как располагаю я моим будущим. Летом после родов жены, отправляю её в калужскую деревню к сёстрам, а сам съезжу в Нижний, да может быть в Астрахань. Мимоходом увидимся и наговоримся до сыта. Путешествие нужно мне нравственно и физически» *(XV, 50–51)*.

Во время путешествия поэт намеревался собирать в Поволжье и на Урале материалы, касающиеся крестьянского бунта, который потряс Россию более полувека назад. Особенно его интересовали свидетельства уцелевших очевидцев. Он трудился над «Историей Пугачёва» и задумал роман о тех событиях.

Пушкинская жена благополучно разрешилась от бремени 6 июля[177]. Удостоверившись в этом, получив дозволение

императора и завершив самые неотложные дела, Александр Пушкин 17 августа покинул Северную столицу. Конечным пунктом маршрута им был избран Оренбургский край.

До Москвы поэта сопровождал Сергей Александрович Соболевский, или «Калибан», короткий приятель. А в Нижнем Новгороде, куда Пушкин, по жаре, приехал 2 сентября 1833 года, к нему — в качестве камердинера — присоединился Гаврила Калашников, вытребованный из имения. Когда миновали Казань и Симбирск, барин уже жалел о своём поспешном распоряжении. «Вообрази себе, — возмущался он в письме супруге от 19 сентября из Оренбурга, — тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные, дорожные рябчики, пьёт мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом. Бесит меня, да и только» *(XV, 81)*[178]. Дорожные проказы Гаврилы, вероятно, были замечены и нижегородскими губернскими властями[179].

Завершив — и довольно удачно — «археографическую» программу поездки, поэт повернул назад и направился в Болдино. Вечером 1 октября, на Покров, он прибыл в имение родителей. «При сём уведомляю Вашу Милость, — доложил по горячим следам Михайла Калашников Сергею Львовичу Пушкину, — что Александр Сергеевич изволил приехать 1-го октября нечаянно»[180].

А через несколько дней, 13-го числа, перебравшаяся из Петербурга в сельцо Михайловское Н. О. Пушкина поделилась новостью о приезде сына Александра в Болдино с О. С. Павлищевой. К этому сообщению Надежда Осиповна прибавила, что туда, в Нижегородскую губернию, они с мужем «только что отправили нового Управителя, дабы заместить Мишеля»[181].

Субституция вступала в решающую стадию. Свергать с болдинского престола Михайлу Калашникова, которого Сергей Львович, уже не миндальничая, называл «негодяем»[182], двинулся Иосиф Матвеевич Пеньковский. В кармане моложавого белорусского дворянина лежало «верющее письмо», позволявшее ему распоряжаться всеми делами[183]…

Глава шестая
УНЫЛАЯ ПОРА

Где время то?..

Эда

«Вот уж неделю как я в Болдине, — отчитывался поэт перед *madame Pouchkine* 8 октября 1833 года, — привожу в порядок мои записки о Пут<ачёве>, а стихи пока ещё спят» *(XV, 85)*.

В первые дни месяца он, полагаем, побывал на сельском кладбище[184]; провёл деловые и нравоучительные беседы с Михайлой Калашниковым; свиделся и с его дочерью. Откладывать давно назревшую развязку, творить в напряжённом ожидании тягостного момента Пушкину не хотелось. Короткая аудиенция с привкусом мелодрамы прошла, скорее всего, вполне пристойно. Коллежская советница Ольга Ключарёва (намедни похоронившая второго ребёнка и снова бывшая в обременении) получила от коллежского советника Александра Пушкина — как говорится, за всё про всё — солидную пачку ассигнаций[185]. (Такую уйму денег Ольга Михайлова отродясь не видывала.) Взамен поэт, похоже, обязал её прекратить почтовые сношения[186]. Толковать с Ольгой о чём-либо ещё Пушкину было некогда: ведь сюда, в Болдино, он «уехал писать» — так, как три года назад, «роман за романом, поэму за поэмой» *(XV, 81),* — а не пустословить. На том они и раскланялись.

А вскоре на поэта, у которого камень с души свалился, «нашла дурь»; он «расписался» и в итоге за 40 дней сочинил «пропасть всякой всячины» *(XV, 81, 87, 89)*[187]. Очень плодотворными стали для него две-три недели октября — время ненастья, уходящей красы и спокойствия. В постели или за столом, после утреннего «кофея» *(XV, 89),* работа спорилась.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут

(III, 321).

Тогда-то Пушкин и написал (или, что в данном случае несущественно, дописал) «Сказку о рыбаке и рыбке», свой третий

по счёту опыт в фольклорном жанре. В конце черновой рукописи имеется авторская помета: «14 окт<ября> 1833 Болдино…» *(III, 1089)*. Сказка была опубликована в 1835 году в майском номере петербургского журнала «Библиотека для чтения» и затем вошла в четвёртую часть «Стихотворений Александра Пушкина» (1835).

Публика читала и не подозревала, что эта небывальщина имеет отношение к частной жизни именитого сочинителя.

Среди русских народных сказок есть отдалённо напоминающие пушкинскую. Однако литературным источником «Сказки о рыбаке и рыбке» является, как установлено, иноземная «Сказка о рыбаке и его жене» («Vom Fischer und seiner Frau») — из сборника братьев Гримм «Детские и семейные сказки» («Kinder und Hausmärchen»), который был напечатан в 1812–1814 годах[188]. Смеем надеяться, что пушкинское сочинение читателям памятно; поэтому нам надлежит вкратце познакомить их только со сказкой померанского происхождения[189].

Начало её таково:

«Жили-были рыбак и его жена; они жили вместе в дрянной лачужке у самого моря. Рыбак ходил каждый день туда и удил рыбу. Так он однажды сидел за ужением и всё смотрел в блестящую воду, и он сидел да сидел.

Вдруг глубоко погрузилась в воду его удочка, и когда он стал её вытаскивать, то выволок большую камбалу. Тогда сказала ему камбала: „Слушай-ка, рыбак, прошу тебя, отпусти меня на волю, я не настоящая камбала, я заколдованный принц. Какая польза будет тебе умертвить меня? Я ведь тебе не по вкусу прийдуся: брось же меня лучше опять в воду, снова плавать“. — „Ну, — сказал человек, — тебе и не надо тратить столько слов; камбалу, умеющую говорить, я бы и без того, конечно, отпустил плавать“. С этими словами он отпустил её в блестящую воду опять, и пошла камбала на дно, оставив за собою длинную кровяную полосу. Рыбак же встал и пошёл к своей жене в лачужку.

„Муж, — сказала жена, — разве же ты ничего не поймал сегодня?“ — „Нет, — сказал муж, — я сегодня изловил камбалу, которая сказала мне, что она — заколдованный принц; я и отпустил её плавать“. — „Неужели ты себе у неё ничего не выпросил?“ — сказала жена. „Нет, — сказал муж, — да чего же мне у ней просить?“ — „Ах, — сказала жена, — да ведь противно жить всё здесь в этой лачужке, где столько вони и грязи: ты мог выпросить нам у неё маленький домик. Ступай-ка и позови её: скажи ей, что мы желали бы иметь маленькую хижину, и она наверно нам даст её“. — „Да с какой же стати мне к ней ворочаться“, — сказал муж. „Но ведь ты же её изловил, а потом опять отпустил её плавать; она наверно это сделает. Ступай же

сейчас“. Не хотелось мужу идти, но и не хотелось перечить жене, и пошёл он к морю.

Когда он пришёл туда, море было совершенно зелёное и жёлтое, и совсем не такое блестящее, как раньше. И так он подошёл и сказал:

Мантье, Мантье, Тимпе Те
Камбала, камбала в море,
Моя жена Ильзебиль
Не хочет так, как я хочу.

Тогда приплыла к нему камбала и сказала: „Ну что же ей нужно?“ — „Да вот, — сказал рыбак, — я ведь тебя поймал, а теперь жена моя говорит, будто я должен у тебя выпросить себе что-нибудь. Ей не хочется жить больше в лачужке, она желала бы иметь маленький домик“. — „Ну, ступай только, — сказала камбала, — она его уже имеет“.

Пошёл муж домой, и его жена не находилась уже больше в лачужке; а на месте лачужки стоял маленький домик, и его жена сидела у двери на скамье».

Итак, поначалу супруги были вполне счастливы; но спустя неделю или две жена рассудила, что камбала наверняка способна делать и более щедрые подарки. И — пошло-поехало… Захотелось ей, неугомонной жене, «жить в большом каменном замке». Потом Ильзебиль решила превратиться в «королеву». Но и «королевы» супруге рыбака было мало; возжелала стать «императрицей». А вскоре «императрица» потребовала сделать её римским папой.

Подчеркнём: перепадало от щедрот камбалы и мужу. Он, правда, робко возражал ненасытной спутнице жизни, но всегда подчинялся и регулярно ходил на морской берег. С каждым его визитом море и погода ухудшались. Сперва «вода была совершенно иловая, тёмно-синяя и серая, и густая <…> однако ж ещё не волновалась». На следующий раз она «испускала совсем гнилой запах», а море «было совершенно тёмно-серое». Позже морское пространство «совсем почернело и загустело, и вздулось, и пузырилось»; вдобавок налетел «сильный ветер». Когда же речь зашла о папском престоле, на побережье «дул сильный ветер, тучи покрывали небо, так что стало сумрачно на западе, срывало с деревьев листья, а вода плескалась и шумела, как бы кипя, и разбивалась о берег. <…> Но всё-таки на середине неба ещё был заметен маленький клочок лазури».

Достигнув мрачного берега, рыбак призывал камбалу привычным словом — и та исправно приплывала, исполняла

прихоти его жены.

Однажды утром новоявленная папесса толкнула мужа локтём под рёбра и молвила: «Муж, проснись, иди к камбале, я хочу быть самим Богом». Тут-то и пришёл сказке конец, да какой: «Поднялась буря и бушевала так, что он (рыбак. — *М. Ф.)* едва мог держаться на ногах; дома и деревья падали, и горы тряслись, и обломки скал скатывались в море, и небо было совсем черно, и гром гремел, и молния сверкала, и такие высокие, чёрные волны ходили по морю, как колокольни или горы, увенчанные большой короною из белой пены. Тогда закричал он и не мог расслышать собственных слов:

Мантье, Мантье, Тимпе Те,
Камбала, камбала в море,
Моя жена Ильзебиль
Не хочет так, как я хочу.

„Ну чего же она хочет?“ — сказала камбала. „Ах, — сказал он, — она хочет быть самим Богом“. — „Ступай домой; она опять сидит в лачужке дрянной“.

Так они ещё и до сего дня сидят».

Сопоставив это повествование с черновым и печатным вариантами «Сказки о рыбаке и рыбке»[190], легко убедиться, что Александр Пушкин создал в Болдине вполне оригинальное произведение, существенно отличающееся от чужеземного текста. «Разность» между сказкой № 19 из гриммовского сборника и пушкинской подчёркнута русским национальным колоритом, но им отнюдь не исчерпывается. Например, Пушкин дал в руки своему старику иную рыболовную снасть, превратил камбалу в золотую рыбку, снял упоминание о заколдованном принце и т. д. Кроме того, он «значительно усилил мотив покорности мужа. В сказке Гриммов старик только покорный муж, не смеющий ослушаться приказов жены и пользующийся вместе с ней дарами чудесной рыбы; у Пушкина — старик совершенно отделяется от старухи, чем достигается бóльшая художественная и психологическая глубина», — тонко подметил М. К. Азадовский[191].

Любопытная — особенно для нас — метаморфоза произошла у «сказочника Александра Пушкина» и с женским образом.

Персонаж померанской сказки имеет имя: женщину зовут Ильзебиль. Её сословный статус неясен, она просто «жена рыбака». Жила в «дрянной лачужке» и поначалу жаждала обрести «маленький домик». Вот и весь портрет, вся интродукция.

У Пушкина же о безымянной старухе и её первых шагах

рассказано гораздо подробнее *(III, 534–536, 1080, 1084)* — и сообщено, пожалуй, ровно столько, сколько требуется для определения *прототипа.* Она была «чёрной крестьянкой», то есть принадлежала к черни, низшему сословию, ютилась в «ветхой землянке»[192]. «Пряла свою пряжу»[193]. Запросы у неё сперва были крайне скромные: хотела обзавестись даже не «домиком», а чем-то грошовым, типа «нового корыта». А потом крестьянка вдруг стала «столбовою дворянкой»[194]. И просить вознамерилась больше и чаще, с «усердными холопами» не церемонилась[195], да и мужем своим помыкала всё наглее.

Последнее обстоятельство, на наш взгляд, и подтолкнуло Александра Пушкина к переработке на собственный манер гриммовской сказки. Полученное в январе 1833 года письмо от Павла Ключарёва поэт счёл — возможно, небезосновательно — следствием диктата не знающей удержу Ольги, её очередной проделкой[196].

С болдинской осени 1830 года слишком много воды утекло, причём воды мутной, что и привело к поэтической аберрации. Если раньше в пушкинских стихах тихо струилась нежность: «Я думал — сердце позабыло…» *(III, 1009),* то теперь хлынул поток совсем других чувств:

> «Что ты, баба, белены объелась?
> Ни ступить, ни молвить не умеешь!
> Насмешишь ты целое царство»
>
> *(III, 537).*

Бессмысленно ломать копья, рассуждая о том, имел ли поэт — после случившегося в Михайловском в 1826 году — моральное право на подобные литературные жесты. Пушкин никогда не сомневался, что «поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело» *(XII, 229).* Поэтому, создавая в доме с мезонином «Сказку о рыбаке и рыбке» — притчу о вечных проблемах бытия, «о смирении и гордыне» (В. С. Непомнящий), — автор, по обыкновению, игнорировал «низкие истины», замыкался в мире высокой поэзии и руководствовался исключительно её — «сверхчеловеческими» — нормами.

> Хвостом рыбка по воде плеснула
> Да нырнула в синее море
> Не дождался старик ответа
> Воротился старик к старухе
> Глядь — опять перед ним землянка

И в землянке его старуха —
[Перед ней старое корыто]

(III, 1088–1089).

Не успели высохнуть толком «тёмные, неразбавленные чернила»[197], как это пророчество сбылось — вернее, почти сбылось.

В начале двадцатых чисел октября 1833 года в село Болдино пожаловало возмездие — в облике Иосифа Матвеевича Пеньковского. В данной ему от Сергея Львовича Пушкина доверенности, среди прочего, значилось: «…Прошу вас, означенное моё имение принять в полное ваше распоряжение и хозяйственное управление, и буде случится по означенному моему имению дела, то по оным иметь хождение, следующие прошения, объявления, и всякого рода бумаги от имени моего за вашим вместо моего рукоприкладством, во все Присутственные Места и лицам подавать. <…> От управляющего в селе Болдине крепостного жены моей человека Михайлы Калашникова принять всё в своё ведомство по имеющимся у него книгам и документам, и буде имеются наличные из моих доходов деньги, то оные тотчас от него приняв, доставить ко мне. <…> Словом, прошу вас по этому имению действовать и распоряжаться так, как бы я сам лично, собираемые с оного доходы доставлять ко мне, и что вы к пользе моей, и к выгоде имения моего учините, во всём верю и впредь спорить и прекословить не буду»[198].

Внезапный приезд вновь назначенного управляющего стал для большинства селян событием эпохальным, а для одной фамилии — почитай апокалиптическим. Выбил он из колеи и поэта. Установлено, что «в эти дни ритм работы Пушкина нарушается»[199]; вдобавок его одолевает «хандра» *(XV, 87–88)*. Однако скоро Александр Пушкин, отказавшись вникать в склочные подробности переходного периода, вернулся к любимым занятиям. (Чудно́, но факт: в его длинных болдинских письмах жене нет ни единого слова об отрешении Михайлы Калашникова от должности.) Лишь изредка он отвлекался от сочинительства и без вдохновения играл роль верховного арбитра в состязании двух наместников, старого и свежеиспечённого[200].

Иосиф Пеньковский официально вступил в должность 1 ноября 1833 года[201] и по-молодецки взялся за дело: устранил прежнего бурмистра; завёл новенькую памятную тетрадь; досматривал магазины; считал четверти и рубли с копейками; слал депеши и деньги в Петербург; изучал «шнуровые книги»[202] и

изобличал упирающегося соперника в упущениях и корыстолюбии. Добавила масла в огонь и поданная «батюшке Александру Сергеивичу» жалоба болдинских крестьян, где было занумеровано 11 смертных грехов Михайлы Иванова *(XV, 91–92)*. Пушкин принял всё это (и прочее) к сведению, выслушал вполслуха и патетические опровержения Калашникова, однако ничью сторону так и не взял и решительного вердикта не вынес. «Я не могу довериться ни Михайле, ни Пеньковскому, ибо знаю первого и не знаю второго», — объяснил он (позднее и по-французски) свою нейтральную позицию в письме П. А. Осиповой *(XV, 179, 330)*. Поэт допускал, что ставленник Сергея Львовича, с виду бравый, может оказаться калифом на час.

Перечить отцу Пушкин не собирался. Но в своих владениях сын Сергея Львовича был вправе распоряжаться единолично. И, пораскинув умом, сверившись с сердцем, он склонился к соломонову решению: перевёл Михайлу Калашникова на «второе положение»[203] и назначил временным управляющим в принадлежащую ему, Александру Пушкину, часть деревни Кистенёво. «Пеньковский, — резюмировал П. Е. Щёголев, — должен был с ним считаться»[204]. При этом горемычный Михайла с домочадцами могли по-прежнему жительствовать в Болдине, в былом достоинстве, а окончательное определение их судьбы откладывалось на будущее.

Помещик, таким образом, *de jure* провозгласил в Болдине *двоевластие,* которое *de facto* являлось паллиативом, отдаляющим крах Калашниковых (но не имения).

«Разбитое корыто» пока было лишь грозной строкой пушкинского черновика.

9 ноября 1833 года поэт оставил унылое Болдино на попечение дуумвирата. Ольге всё-таки удалось попрощаться с Александром Пушкиным и заодно упросить его взять с собой Гаврилу. Чем это для *enfant terrible*[205] кончилось, уже рассказано.

Глава седьмая
ГОД ПЕЧАЛИ И ВЗДОХОВ

Слезами скорби платишь ты…

Эда

Вслед за поэтом в ноябре 1833 года покинули Болдино два других персонажа нашей повести. Павел Степанович Ключарёв, получив от разбогатевшей Ольги крохотное пособие, бросился искать счастья в Москве и застрял там[206]. Михайла же Иванов, пытаясь перезаложить кистенёвских крестьян Александра Пушкина, отправился сначала в Нижний Новгород, а оттуда также в Первопрестольную. «Управитель твой приехал, бумагу выправил, — сообщил П. В. Нащокин приятелю в конце месяца, — а денег опять не дадут…» *(XV, 97)*. К концу второй декады декабря Калашников уже добрался до села, где застал жену Вассу в критическом положении. «Старуха моя <…> так худа толки что жива и ноги распухли до поясницы и всё вдоль идёт что Бог даст не знаем», — собственноручно писал Михайла 19 декабря 1833 года барину Александру Сергеевичу. В том же письме он передал Пушкину поклон от своей дочери *(XV, 100)*.

Потом пришёл год 1834-й, который оказался для Калашниковых по-настоящему чёрным, годиной «печали и вздохов» (Ис., 51, 11).

«Титулярная советница из дворян» быстро нашла применение ассигнациям, полученным от Александра Пушкина. 9 января она, с некоторых пор остро нуждавшаяся в прислуге, приобрела за 400 рублей «крестьянскую жёнку вдову Стефаниду Мартынову с дочерью ея Анною Даниловою и с сыном незаконноприжитым Алексеем Козьминым». Купчую вместо Ольги подмахнул брат, Гаврила Калашников, возвратившийся (увы, на щите) из златоглавой столицы. В те же сроки Ольга Михайлова Ключарёва купила — и снова на своё имя — одноэтажный пятистенный домик в Лукоянове, на берегу речки Теши[207]. На мужа она окончательно махнула рукой.

А Вассе Калашниковой было уже не до благополучия дочери: после Рождества она вконец сдала и медленно уходила. В январе Михайла оповестил Пушкиных, что его Бавкида находится «на смертном одре» *(XV, 104)*. Но ещё два месяца Ольгина мать маялась и отмучилась лишь в марте, во дни Великого поста. «… Моя старуха в сей жизни молила Бога и в вышней обители тоже будеть молить за вас, — писал Михайла Калашников Александру

Пушкину, — мы лишились сего марта 11 числа; я, дочь и сын молили за ваше здравия Бога, естли бы вашей руки помощи не было то и нечем бы было и предать земли…» *(XV, 118–119)*. Выходит, что и похороны усопшей были оплачены из пушкинских денег.

Вскоре после сороковин, в конце апреля или начале мая 1834 года, Ольга Ключарёва родила сына Николая[208]. Однако и третий её ребёнок умер в младенчестве: спустя три месяца, 3 августа, в метрической книге болдинской Успенской церкви была сделана запись о его смерти[209].

Сверх того, Ольга лишилась звания помещицы Горбатовского уезда. Вернувшийся несолоно хлебавши из Москвы Ключарев узнал, что Новинки утрачены, проданы с аукциона. После бурных семейных сцен Павел Степанович сбежал в Лукоянов, где поступил на какую-то неказистую службу[210].

Земля уходила у отца с дочерью из-под ног, но они крепились, надеялись сохранить свою власть в имении. И залётному дворянину Иосифу Пеньковскому дружина Калашниковых дала отчаянное сражение.

В многомесячной схватке противники не гнушались никакими средствами. К примеру, И. М. Пеньковский страдал болезнью глаз — и, ухватившись за это, Калашников стал уверять Александра Пушкина, будто «опекун ничего не видить» *(XV, 104)*. Иосиф Матвеевич не остался в долгу и отписал Сергею Львовичу, что Михайла «проводит время приятное после потери своей жены»[211]. Размен подобными наветами не прекращался.

А Ольга Ключарёва не только присматривала за семейным хозяйством[212], но и в селе подвизалась, при случае подавая на людях голос. Скорее всего, она и направляла старого отца, возглавляла поход против И. М. Пеньковского. И тому порою приходилось туго: ведь Ольга Михайлова была второразрядной, но дворянкой, ровней Иосифу Матвеевичу, и, следственно, по-господски осадить или застращать нахрапистую молодицу он не мог.

Делать ставку на одни оговоры «бывших начальников»[213] И. М. Пеньковский не собирался: превозмогая недуг, управляющий повседневно трудился. «До описи Имения недопущу, постараюсь выплатить, какое небудет взыскание», — уверял он Сергея Львовича[214]. В другом письме Иосиф Матвеевич предстал ригористом: «Я очень давно знаю все притворства и хитрости Крестьян, вступив в Управление Вашего Имения, я взошёл подробно во все части и уже очень много по знакомился с Крестьянами болдинскими — точно есть многие любители

Кабака, но Я строгие меры предпринял, другие уже закаились нетолько вино пить, даже и мимо кабака ходить»[215]. Появились у него и вроде бы разумные прожекты: «Болдинская земля непременно требует удобрения. Крестьяне некоторые старательны, возют позём[216] на пашню, однако редкие, удругих просто валяется по дворам позём, или вывозют на улицу, дабы очистить двор — Селовая пашня тоже требует удобрения, очень хорошо былобы за вести скотской двор, без етаго невозможно удобрить земли…»[217]

Более всего старался И. М. Пеньковский преуспеть в главном для владельцев имения вопросе — финансовом. Он выплачивал «взыскания» в Опекунский совет и тем самым отодвигал потерю имения, продавал зерно и коноплю, собирал «по частям года» оброчные суммы и недоимки. «Душевно бы желал доставить Вам более доходов, — написал он однажды С. Л. Пушкину, — естлибы были средства приобрести»[218].

Но чудесных «средств» тогда попросту не существовало: Болдино находилось в аховом состоянии, было буквально «на волос от полного разорения» *(XV, 179, 330)*. Работники умирали в огромном количестве: со времени 7-й ревизии (1816) население Болдина увеличилось только на 13 душ, а Кистенёва — на 47. Мерзость запустения усугублялась двоевластием: Калашниковы, отец и дочь, всеми силами, причём открыто, противодействовали начинаниям нового управляющего. «Прошу меня известить, Милостивый Государь Сергей Львович, — терял терпение И. М. Пеньковский, — накаком положении должен жить Мих<айло> Иван<ов>»[219].

Однако вместо разъяснений Иосиф Матвеевич вскоре стал получать из Петербурга «неудовольствия» — одно за другим.

Там, на Неве, от И. М. Пеньковского ждали не деклараций и не грёз о позёме, но денег, единственно денег — значительно больших, нежели поступало прежде от Михайлы. Когда же Пушкины уяснили, что их доходы за истекший период едва выросли, а имению вновь грозит катастрофа, то стали подумывать об очередной субституции. В начале весны 1834 года было решено, что Болдино возьмёт в свои руки Александр Пушкин[220]. Тот не только завёл «Щёты по части управления Болдина и Кистенёва», но и наметил возвести в управляющие собственного дворецкого, тридцатилетнего Василия Калашникова, брата Ольги. Сделать из него продолжателя династии наместников поэт собирался осенью, по приезде в село. Пока же он приказал Василию готовиться к отъезду; а сам направил опальному И. М. Пеньковскому строгую директиву:

«Батюшке угодно было поручить в полное моё распоряжение

управление имения его; по сему утверждая доверенность им данную вам, извещаю вас, чтобы отныне относились вы прямо ко мне по всем делам, касающимся Болдина. Немедленно пришлите мне счёт денег, доставленных Вами Батюшке со времени вступления Вашего во управление, также и Вами взятых в займы и на уплату долга, а за сим и сколько в остатке непроданного хлеба, несобранного оброка и (если случится) недоимок. Приступить Вам также и к подворной описи Болдина, дабы оная к сентябрю месяцу была готова.

13 апреля. А. Пушкин» *(XV, 126)*.

Тогда же, 13 апреля, набросал послание к И. М. Пеньковскому и Сергей Львович Пушкин, который повелел Иосифу Матвеевичу «отсылать все доходы Селовые иобо всём относится к Александру Сергеевичу»[221].

В тот же день царапнул цидулку в Болдино, к Михайле Калашникову, его сын Василий. По распоряжению барина, Александра Пушкина, он сообщил старику о грядущих преобразованиях.

Триада писем была доставлена в село единовременно — 25 апреля, в среду на Светлой неделе, и произвела должное впечатление. Разумеется, И. М. Пеньковский впал в уныние, а Калашниковы возликовали. Они устроили в Болдине и Кистенёве натуральную вакханалию, и Ольга Ключарёва, которая со дня на день должна была родить, ни в чём не отставала от отца[222]. Их торжество, шаг за шагом, и возникшую в имении анархию Иосиф Матвеевич запечатлел в обширном донесении С. Л. Пушкину. Оно датировано 30 апреля 1834 года:

> «Получил я Вашее письмо 25-го апреля, писанное от 13-го <…>. Спешу Вас Уведомить, что тогоже числа получил Михайло Иванов Сведенье из С<анкт->Петербурга, что его сын Васильии вскором времяни приедет в Болдино на моё место Управлять Вашим Имением. Успел Михай<ло> Иванов известить по всем дворам <…>. Дочь его Ольга Михай<лова> с большою Уверенностию утверждает, что она меня как Грязь с Лопаты с должности сбросит, только бы приехал Александр Сергеевич в Болдино, тогда что она захочет, всё для неё сделает Александр Сергеевич![223]
>
> После етаких слухов я просил Михай<лу> Ивано<ва> и его дочь, дабы ожидали терпеливо так для них радостной цели, дабы необявляли етого Крестьянам, чем можете разстроить Хозяйство — некоторые избалованные Крестьяне по родстве некоторых

обстоятельств с Михай<лой> Иванов<ым>, которых я старался понемногу приучать к трудам и быть полезными Господину своему — очень бы ради поступить под покровительство к Михай<ле> Иванову.

После моего Совета Михай<ло> Иван<ов>, собрав в Кистенёве Крестян части Александра Сергеевича, читал письмо выш описанного Сведенья, и сказал, что вы и вся часть Сергея Львовича опять мои».

Заключала письмо разобиженного Иосифа Матвеевича просьба: «Покуда поступит новый Управляющий, очень бы желал получить от Вас или от Александра Сергеевича повеление Михай<ле> Иванову, дабы не возмущал народ своею развратностию — и жылбы по скромнее с Своим Семейством…»[224]

Если И. М. Пеньковский искал у Сергея Львовича какой-либо правды и защиты, то Михайла Калашников обратился к *своему* благодетелю по-иному — со словами надежды и совершеннейшей преданности. Через день после прихода судьбоносных писем он, окрылённый, упорхнул по хозяйственным нуждам в Нижний Новгород и уже оттуда, поостыв, писал 2 мая Александру Пушкину: «Василей ко мне писал что вы изволели ему приказать ко мне написать; естли ваша милость будет для нас верноподанных рабов ваших не лишите своею отеческую милостью, за что мы по гроб нашей жизни будем Бога молить — и моей старухи Богу неугодно было вас в нынешнем свете поблагодарить со слезами то в будущем веке молить Царя Небесного о вашем здравие и долгоденствие» *(XV, 138)*. Снова Михайла уповал на пушкинские «милости», ради них бил поклоны: дело продвигалось успешно, но ведь до осени было ещё далеко, и барин мог передумать.

А именно так вскоре и случилось. И вновь все карты заговорщикам спутал клочок бумаги, проклятое письмо — теперь щелкопёра И. М. Пеньковского. Живописный рассказ управителя разозлил, задел за живое и Сергея Львовича, и — особенно — Александра Сергеевича. Речи же парвеню Ольги («Что она захочет, всё для неё сделает Александр Сергеевич!»), которая, сама того не подозревая, шла по стопам героини сказки, и вовсе покоробили поэта. Он отложил отправку Василия Калашникова в нижегородское имение. Династическое правление, к тому же с вульгарным матриархальным душком, стало внушать ему серьёзные опасения.

Впрочем, мученика И. М. Пеньковского Александр Пушкин по-прежнему не жаловал. И когда давний приятель Алексей

Вульф порекомендовал ему агронома Карла Рейхмана (управлявшего Малинниками, тверским имением П. А. Осиповой), поэт размышлял недолго. Уже в середине мая немцу выправили соответствующую доверенность, и тот отправился в Болдино.

Однако в болдинских управляющих К. Рейхман не задержался. Прибыв в имение 30 мая 1834 года, он уже 9 июня отказался от суетной должности и удалился восвояси. Причины столь спешной ретирады были изложены им в письме Александру Пушкину от 22 июня:

> «Вы может быть будете сомневаться что я не остался в Болтине. Ибо некак мне остаться возможности не было <…>. Вы меня рекомендовали Михайле Иванову но я в нём ничего не нашёл благонадёжного, чрез его крестьяне ваши совсем разорились в бытность же вашу прошлого года в вотчинах крестьяне ваши хотели вам на его жаловаться и были уже на дороге но он их встретил не допустил до вас и наказал. И я обо всём оном действительно узнал не только от ваших крестьян, но и от посторонних по близости находящихся суседей. <…>
>
> А потому как я всё сие узнал, сам не знал что делать <…>. Но я же уверен был естьли буду в месте с Михайлом Ивановым управлять хорошего нечего не предвидил чрез что самое опасался что вы мне не поверите. Лутче согласился оставить сие место чтоб вам и крестьянам вашим убытку не было…»

О Пеньковском же Карл Рейхман, напротив, отозвался с похвалой: «Осип Матвеевич человек порядочьный и ведёт во <в>сём порядок и он благонадёжен то я ему опять предоставил управлением» *(XV, 163)*.

Двоевластие в Болдине продолжилось. До конца лета соперники без устали докладывали Александру Пушкину о своих достижениях и лаялись друг на друга; просили о «милостях» и надували губы[225]. «Я нанялся не капитал наживать, — доказывал И. М. Пеньковский, — а единственно дабы оправдать тех особ которые меня рекомендовали к Сергею Львовичу и вместе заслужить у Сергея Львовича и у Вас о себе хорошее мнение; без чего бедному человеку в нонишних временах мудрено прожить» *(XV, 159)*. «Мы всё молим Бога, — гнул свою линию тёртый Михайла Калашников, — чтобы продлил ваши лета во всяком благополучии и здоровьи…» *(XV, 165)*. Поэт пробегал такие излияния — и ничего не предпринимал, вспоминал *былое,* колебался, никак не мог выбрать меньшее из зол.

Для Пушкина 1834 год тоже был печальным. На старости лет он угодил в камер-юнкеры и воспринял пожалование как дурную шутку. Жена его выкинула; письма перлюстрировались полицией; в отставку подать не удалось; с царём поэт «чуть было не побранился» *(XV, 178);* долги устрашающе выросли, денег же ниоткуда не предвиделось. Выводили Александра Пушкина из себя, лишали остатних сил и неурядицы с нижегородским имением. «Из деревни имею я вести неутешительные. Посланный мною новый управитель нашёл всё в таком беспорядке, что отказался от управления и уехал. Думаю последовать его примеру», — признавался он *Natalie (XV, 170)*. А Прасковье Александровне Осиповой поэт исповедовался по-французски: «Вы не можете себе представить, до чего управление этим имением мне в тягость» *(XV, 179, 330)*.

С подобными настроениями «титулярный советник в звании камер-юнкера» *(XV, 210)* Александр Пушкин, испросив дозволение на трёхмесячный отпуск «по домашним обстоятельствам», отправился в середине августа 1834 года из Петербурга в Калужскую губернию — в Полотняный Завод, где тогда пребывала Наталья Николаевна с детьми. В гончаровском имении он находился до 6 сентября[226]. По всей видимости, там, в Полотняном Заводе, накануне отъезда, поэт и получил письмо И. М. Пеньковского от 21 августа[227].

Первая половина послания управляющего была посвящена финансовым и хозяйственным проблемам. «Я по сие время тружусь с истинным к Вам, милостивый государь Александр Сергеевич! усердьем ни в чём не упуская пользы Вашей» — так завершил экономическое обозрение Иосиф Матвеевич. И обратился к насущному вопросу о двоевластии:

> «При сём принуждён Вас просить естли угодно будет принять во уважение мою прозьбу о решение моей участи. Михаил Иванов хотя живёт со мной по наружности дружно по совету его сына Василья который в письме[228] пишет дабы со мной жить дружески и в том же письме пословицу, худой мир лучше доброй ссоры, и так Михай<ла> Ивано<в> придерживается этой пословицы, ходит по своим любовницам и твердит что скоро меня выживет и грозит строгим наказанием некоторых крестьян за их дерзость, как они смели на него говорить правду Рейхману о недоимке и беспорядках его правления.
>
> Мною заведён порядок и ровна справедливость над всеми крестьянами мало по малу растроивается

> сплетнями Михаи<ла> Иванова и мстительными угрозами. Нониче дочего уже доходит, мною отданные приказания старостам по хозяйственной части запрещает им исполнять, что это всё будет иначей как приедет Александр Сергеевич! Старосты ходят как сонные не знают кого слушать, крестьянам нестарательным этого только и нужно — мудрённо очень управлять при этаких растройствах».

Далее И. М. Пеньковский привёл другие примеры происков Михайлы Калашникова и наконец перешёл к самому важному; вот ключевые строки его письма:

> «…Признаюсь Александр Сергеевичу что очень мудрено в одном имении двум управлять. Всепокорнейше прошу Вашего решения, прикажите из нас кому одному в селе Болдине управлять естли же оба в разсуждению Вашем окажемся неспособными, то не медлите прислать нового управляющего. <…> Обо всём буду ожидать Вашего решения, трудясь с истиною преданностью…»
>
> *(XV, 186–188).*

Доведённый до крайности управитель в учтивой форме потребовал от Пушкина более «не медлить» и покончить с двоевластием в имении. Дворянин ждал от дворянина решительных шагов и заранее принимал любой исход.

6 сентября поэт, его семья и *belles-sœurs*[229] на четырёх тройках двинулись из Полотняного Завода в Москву. Тут камер-юнкер расстался с роднёй и 9-го (или 10-го) числа поехал «по губернским трактам» *(XV, 191)* в Болдино.

В дороге он, вероятно, уже знал, как поступит.

Одолев полтысячи с лишком вёрст, Александр Пушкин прибыл в имение 13 сентября 1834 года, поутру, — и был встречен первым снегом.

В господском доме шла переделка, и поэт поселился в вотчинной конторе. Там он скрепя сердце и общался с наместниками, каждый из которых бахвалился своим превосходством. Скучавший Пушкин с видом знатока внимал перебивающим друг дружку полемистам, искоса поглядывал в подсунутые бумаги, произносил глубокомысленные сентенции. «Управители меня морочили, — записал он позднее в дневник, — а я перед ними шарлатанил, и, кажется, неудачно…» *(XII, 332)*. В

конторе же барин принял и депутацию болдинских крестьян: те подали «милостивому государю батюшке» новую жалобу на Михаилу Калашникова и его присных — «фафористов»[230]. «Сей час у меня были мужики, с челобитьем, — сообщил Александр Пушкин жене 15 сентября, — и с ними принуждён я был хитрить — но эти наверное меня перехитрят…» *(XV, 192)*.

Пушкину, конечно, сообщили, что у Ольги месяцем ранее умер ребёнок, и, видимо, поэт при встрече выразил Ключарёвой сочувствие. Сходил он и на заснеженное болдинское кладбище, «ночлег усопших поселян» *(III, 947),* где за год вокруг могилы сына появилось множество свежевыструганных крестов.

Стою печален на кладбище.
Гляжу кругом — обнажено
Святое смерти пепелище
И степью лишь окружено.
И мимо вечного ночлега
Дорога сельская лежит,
По ней рабочая телега
изредка стучит.
Одна равнина справа, слева.
Ни речки, ни холма, ни древа.
Кой-где чуть видятся кусты.
Немые камни и могилы
И деревянные кресты
Однообразны и унылы

(III, 333).

В черновике этого грустного наброска (датируемого предположительно второй половиной сентября 1834 года[231]) есть строки, понуждающие нас припомнить минувшие михайловские дни:

Ни деревца, ни ручейка…
Ни хоть берёзы где бы дева
Могла…

(III, 948).

Но продолжения у стиха не было — как не было уже и само́й *девы,* которая когда-то пряла и беспечно пела в избушке. Она перестала существовать осенью 1830 года, и «эпизод

креп<остной> любви» *(VIII, 975)*[232] нынче выглядел почти баснословным.

«Кажется, менее будет мне хлопот, чем я ожидал», — писал поэт супруге по прибытии в село *(XV, 191)*. К 25 сентября Пушкин «кой-как уладил» *(XV, 193)* дела и начал подумывать об отъезде. Но тут подоспела дополнительная морока: на Михайлу со товарищи донесли крестьяне кистенёвские. «Известно какое распорежение в селе Болдини такое же и у нас», — фискалили они *(XV, 194)*. И барину пришлось чуть задержаться.

Незадолго перед отбытием он наконец-то огласил свою непреклонную волю: отныне всей полнотой власти в имении наделялся Иосиф Пеньковский. Михайле надлежало сдать ему бумаги по управлению пушкинской частью деревни Кистенёво. Заодно был низвергнут и кистенёвский бурмистр. В приватной беседе с Иосифом Матвеевичем Пушкин оговорил «ординарий» и размеры его жалованья — «в год одна тысяча рублей ходячей монетой»[233]. А отставленному Калашникову «на пропитание» поэт положил солидную сумму — 200 рублей ежегодно.

Скорее всего, Александр Пушкин покинул Болдино 1 октября[234]. Спустя две недели, 15-го, И. М. Пеньковский доложил ему, что «от Михаил Иванова принял отчёты». «В селе Болдине и селе Кистенёве всё благополучно», — прибавил управляющий *(XV, 196)*.

Метившая в болдинские царицы Ольга Ключарёва и её родитель смирились и могли только тяжело вздыхать.

На исходе 1834 года была поставлена и юридическая точка: из Северной столицы в село поступила слаженная в 1-м департаменте Санкт-Петербургской палаты гражданского суда и подписанная «Двора Его Императорского Величества камер-юнкером титулярным советником Александром Сергеевым сыном Пушкиным» доверенность. Согласно ей, «белорусский дворянин Осип Матвеевич Пеньковский» принимал имение «в полное распоряжение и управление» *(XV, 211–212)*.

«Разбитое корыто» стало для Калашниковых явью.

Глава восьмая
У РАЗБИТОГО КОРЫТА

И ночь прозрачная сменяет
Погасший неприметно день.

Эда

Летом 1835 года Александр Пушкин отказался и от управления нижегородским имением, и от доходов со своей части Кистенёва — в пользу сестры[235]. Сергей Львович склонялся к тому, чтобы избавиться от Болдина вовсе, однако управляющему удалось переубедить его. «Знаю, что <…> вы остановили батюшку в его намерении продать это имение, и тем лишить, если не меня, то детей моих, последнего верного куска хлеба, — писал позднее благодарный поэт И. М. Пеньковскому. — Будьте уверены, что я никогда этого не забуду» *(XVI, 127)*. К этому времени Иосиф Матвеевич смог добиться определённых экономических успехов, и привередливые Пушкины иногда бывали им довольны[236].

В марте 1836 года скончалась мать поэта, Надежда Осиповна, и записанное за ней сельцо Михайловское подлежало разделу: «седьмая часть отходила её мужу Сергею Львовичу, четырнадцатая дочери, остаток шёл пополам сыновьям»[237]. Таким образом, Александр Пушкин стал совладельцем крепостных людей Калашниковых. Видимо, он решил как-то воспользоваться данным обстоятельством — быть может, даже дать отцу с сыновьями вольную[238] — и посему сообщил 14 июня И. М. Пеньковскому: «О Михайле и его семье буду к Вам писать» (*XVI, 127)*. Такое письмо неизвестно. Зато мы знаем, что летом и осенью 1836 года Пушкину довелось выдержать циничный натиск Н. И. Павлищева, который, приехав из Варшавы, всеми правдами и неправдами старался получить причитавшуюся его жене Ольге Сергеевне часть наследства.

При этом Николай Иванович по-прежнему жаждал расправиться с Калашниковыми, и в первую голову с Михайлой Ивановым. «Ну, уж право не грешно взять с него выкупу тысяч 50, он один сто́ит Михайловского», — уверял Н. И. Павлищев Пушкина 11 июля. «Не худо б забрить лоб кому-нибудь из наследников Михайлы, — мечтал зять в псковском сельце 21 августа, — жаль, что сам он ушёл от рекрутства». А в письме от 22 октября (4 ноября), вернувшись в Варшаву, Н. И. Павлищев

изложил свой план отмщения ненавистному крестьянскому роду с точностью до целкового. «Послушайте меня, Александр Сергеевич, — настаивал помощник статс-секретаря. — Не выпускайте из рук плута Михайлу с его мерзкой семьёю. <…> Благо их не в вольности, а в хорошем хлебе. Михайла и последнего не заслуживает. Возьмите с него выкуп: он даст вам за семью 10 т<ысяч>. Не то, берите хоть оброк с Ваньки и Гаврюшки[239] по 10 р<ублей> в месяц с каждого, а с Васьки (получающего чуть ли не полковничье жалованье)[240] по 20 р<ублей> в месяц, обязав на случай их неисправности, платить самого Михайлу: вот вам и капитал 10 000. Петрушка[241] спасёт хорошего мужика от рекрутства, и будет если не солдат, то лихой ротный писарь или цырюльник» *(XVI, 138, 156, 175)*. «Положим, что Павлищев не знал, что связывало Пушкина с семьёй Калашниковых, — обронил П. Е. Щёголев, — а то его предложения разделаться с Михайлой звучали бы слишком зловещей иронией»[242].

Александр Пушкин узнал и другую, куда более реалистичную, версию имущественного положения всех Калашниковых: ему доставили письмо из Болдина, от Михайлы. Более двух лет побеждённый старик молчал, но 22 декабря 1836 года решился, призвав писаря, напомнить барину о своём (и не только своём) существовании. Вечный проситель, он не изменил себе; однако лукавил, пожалуй, лишь в мелочах, а в остальном был весьма искренним:

> «Милостивый Государь Александр Сергеевичь!
>
> Я опять осмелился беспокоить вашу милость моею прозбою, хотя чувствую тягость прозб, но тягость моего положения мучительна: мне около семидесяти лет; ивсе сии семдесят лет проведены наслужбе господ моих, с усердием с радастию употреблены, все мои способности, бескорысность всегда была моим правилом, пять сынов мною предоставлено в замену моей старости, надежда на Бога, надежда на господ единствено питали меня в будущем; я переносил стерпением все бури мирских гонений, незащищая себя, неоправдывая противу несправедливостей и клеветы, до последнего теперешнего моего существования не произносил я малейшаго ропота, а равно итеперь. Но я, находясь в болезни, и вижу приближение смерти и равнодушно ожидаю её с чистою совестию! и находясь в бедности *с несчастной моей дочерью*[243] осмелился припасть ещё квашему милостивому покровительству, положенные

вашей милостию напропитание мне 200 рублей, батюшка Серьгей Львовичь уничтожил, аопределил только 50 рубл<ей> в год, и один хлеб; обратится стребованием кдетям я сам им нечего не дал окроме несчастной жизни, и потому не нахожу никого помощником моей бедности, окроме вашей милости, и вы теперь одна наша надежда.

Покойный дедушка ваш обещал мне и семейству тихое счастие; но Бог лишил нас сего блага отнятием жизни, с тех пор прошло много лет и мы в вас увидели желанную <…> надежду, не обманите в ней, помогите как милостивый господин как добрый отец приявший недостойного сына, накиньте покров свой, как Илия на слугу и прославятся щедроты ваши; тем более: что семейство моё всегда и прежде пользовалось вашими милостями и слышало ваши благодетельные обещания; сын мой[244] первоначально служил вам, имел счастие доказать ещё вребячестве свою верность и усердие, и теперь равно другим оплачивает оброк, старший сын, удручённый болезнями, сженою, тремя детьми[245] не имеет пристанища испособа прокормить себя, пишет ко мне, прося помощи, где возьму я подать им сию, когда ещё на руках моих *несчастная дочь!* Младший сын[246], о коем мы просили вас, и в бытность нонешнего лета Сергея Львовича, который живёт у помещика за бездельную плату, хотя бы вы его мне на помощ отдали за всех других детей, сам Серьгей Львович обещал с вами посоветовать, а это уверяет нас ваша воля и мы счасливы; изасим во ожидании вашего милостивого ответа, Ваш верноподанный раб навсегда[247] пребуду Михайл Калашников.

Не оставте, батюшка, вас Бог вознаградить в сей жизни и в будущем веке. И батюшка ваш так был к нам ласков, дай Бог, чтобы отец родной был так расположен»

(XVI, 203).

Curriculum vitae[248] Калашникова написана строго от первого лица, а далее ловкий Михайла начал употреблять местоимения множественного числа («мы», «наша», «нас», «нам»), вследствие чего находившаяся где-то рядом Ольга Ключарёва стала как бы соавтором послания. Получилось, что *и она* писала Пушкину — и при этом не нарушила, а обошла пушкинский запрет.

Письмо попало к поэту уже после Рождества — очевидно, накануне Нового года. А 27 января 1837 года он вышел к барьеру и был смертельно ранен. Так что известие об Ольге (или от

Ольги) поступило к Пушкину ровно через 12 лет после начала их романа и за месяц до его гибели.

Каждый любовный роман поэта имел какие-то особенности — по-своему уникальным был и этот, «крепостной».

Принято считать, что Александр Сергеевич оставил послание Михайлы без внимания. «Надо думать, что Пушкин никак не реагировал на это последнее полученное им письмо из Болдина, — полагал, к примеру, П. С. Попов. — В начале роковой для поэта зимы 1836–1837 года его мысли были далеко от того, чтобы налаживать болдинские дела»[249]. Однако нам известно: вскоре Гаврила вернулся от «помещика» в нижегородское село, а пенсион Михайлы Иванова, выдаваемый болдинской экономией, вырос вдвое[250]. Поэтому допускаем, что поэт и напоследок облагодетельствовал Калашниковых.

В долгом и по большей части *мещанском* послесловии к роману с Ольгой Александр Пушкин не сделал, думается, ни единой помарки.

Ольгу Ключарёву и вправду можно было назвать «несчастной». Тогда она жила, похоже, «на два дома, периодически возвращаясь то в Болдино, то в Лукоянов»[251]. В 1835 году (когда в Петербурге напечатали «Сказку о рыбаке и рыбке») её «пасквильный» супруг лишился должности и попал под суд[252]. Узилища Павлу Степановичу удалось, кажется, избежать, но из уездного города пришлось уехать. С той поры жена его больше не видела[253].

Перед Ольгой Михайловой «открылась бездна нищеты»[254]. Будучи дворянкой, она — по жёстким нормам того, ещё не эмансипированного, времени — не могла *зарабатывать* деньги каким-либо трудом. И чтобы как-то существовать, сводить концы с концами, соломенная вдова с богатой литературной биографией сначала продала крепостных людишек, а потом и лукояновский домик — трактирщику Терекову[255].

Павлищев же издалека грозил Калашниковым и не оставлял мысли сжить их со свету. Воспользовавшись тем, что Сергей Львович отказался от своей части сельца Михайловского в пользу дочери, Николай Иванович стал (после кончины Александра Пушкина) в одиночку распоряжаться псковским имением и приписанными к нему крепостными душами. Из Варшавы он в августе 1837 года приказал старосте сельца взимать с Василия, Ивана и Гаврилы Калашниковых оброк[256]; собственного же слугу Петрушку, который «спился с кругу» *(XVI, 174)* и был уволен[257], Н. И. Павлищев сдал-таки в рекруты[258]. Вот только на Ваське он не смог разжиться: мужик вскоре «умре»[259]. Распаляло

варшавского выжигу и то, что до Михайлы, верховного лиходея, ему никак не удавалось добраться.

Судя по исповедным росписям церкви Успения Пресвятой Богородицы, Ольга, её отец и брат Гаврила безвыездно жительствовали в имении, под протекторатом И. М. Пеньковского, до 1840 года[260]. В тот год, уже после Пасхи (14 апреля), но до филипповок[261], старик с сыном были вытребованы в Петербург. Вероятно, с ними поехала в столицу и 35-летняя титулярная советница Ключарёва: её имя с указанного момента исчезло из болдинских и уездных документов. Стало быть, Ольга провела в Болдине 14 лет.

Покинув контролируемое пушкинистами и краеведами болдинское пространство, Калашниковы очутились в среде, которая едва изучена. О них удалось собрать следующие сведения.

Гаврила Михайлов обрёл тихое и сытое пристанище. Он превратился в «безотлучного» камердинера Сергея Львовича Пушкина и стал величаться *«le beau Gabriel»*[262]. По утверждению пристрастного мемуариста, обворожительный Габриэль своего не упустил: «набил себе мошну и по кончине барина (в 1848 году. — *М. Ф.)* устроился как нельзя лучше: снял башмачный магазин»[263].

Батюшке Гаврилы, Михайле Иванову, Наталья Николаевна Пушкина собиралась в 1840 году дать вольную — «за долголетнюю усердную службу покойному мужу и ей», однако ходатайство вдовы поэта не было удовлетворено[264]. И Михайле выпало ещё вдоволь пострaнствовать и покорпеть. Так, в декабре того же года Калашникова отправили в Псковскую губернию, в Свято-Успенский Святогорский монастырь, куда Михайла отвёз каменные плиты и мраморные доски для сооружаемого надгробного памятника А. С. Пушкину. Сохранились денежные счета и расписка «служителя г-на Пушкина»; они свидетельствуют о том, что старик ездил в Святые Горы *один,* сам расплачивался с извозчиками и на месте руководил работами «по постановлению того памятника»[265].

Потом Михайла, числясь на оброке по «покормёжному письму», управлял имением Берёзки Подольского уезда Московской губернии, которое принадлежало Сонцовым, пушкинским родственникам[266]. В 1841–1842 годах, когда опека, высочайше учреждённая над детьми и имуществом камер-юнкера А. С. Пушкина, выкупала у совладельцев псковское имение, Сергей Львович оставил Михайлу Калашникова (а также «холостого» Гаврилу-Габриэля и двух других крепостных) «за собою». Их причислили «к собственному населённому недвижимому имению Нижегородской губернии Лукояновского

уезда в село Болдино»[267]. Впоследствии Михайла Иванов получал из Болдина от И. М. Пеньковского по 200 рублей ежегодно[268].

В 1843 году старика отпустили из Подольского уезда в Москву, «для приискания себе места в услужение»[269]. Чем завершились эти поиски, неясно. А умер ветхий Михайла Калашников, как сообщил писатель и библиограф П. А. Ефремов, в Петербурге, в бедности, «у своих недостаточных детей», осенью 1858 года[270]. Тогда ему, пережившему обоих Пушкиных и познакомившемуся с «первым пушкинистом» П. В. Анненковым, было 83 или 84 года.

Об Ольге же и её мытарствах после Болдина мы не знаем решительно ничего. Популярное у современных литераторов сказание о поездке нашей героини на могилу Александра Пушкина, к сожалению, никак не подтверждается имеющимися документами. Возможно, она входила в конце 1850-х годов в кружок упомянутых «недостаточных детей» Михайлы Калашникова[271], а может, уже покинула это семейное сообщество навсегда, упокоилась на смиренном кладбище. Когда и где завершила свои дни всё потерявшая и никого после себя не оставившая титулярная советница Ольга Михайлова Ключарёва, которая в далёкой молодости звалась «белянкой черноокой», так и не установлено.

Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам,
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит низкая ограда.
Лежит уже давно за ней
Могила девицы моей.
И кто теперь её отыщет,
Кто с нежной грустью навестит?
Кругом всё пусто, всё молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит[272].

Наверное, не найти теперь ни кладбища, ни могилы пушкинской Эды, прожившей переменчивую жизнь вне Большого времени.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Абрамович — Абрамович С. Л. Пушкин в 1833 году: Хроника. М., 1994.

Ариштейн — Ариштейн Л. М. Пушкин: Непричёсанная биография. М., 1998.

Вересаев — Вересаев В. В. Загадочный Пушкин. М., 1996.

ВЛ — Вопросы литературы.

ГАНО — Государственный архив Нижегородской области.

ГАПО — Государственный архив Псковской области.

Документы-1 — Александр Сергеевич Пушкин: Документы к биографии. 1799–1829. СПб., 2007.

Документы-2 — Александр Сергеевич Пушкин: Документы к биографии. 1830–1837. СПб., 2010.

Куприянова — Куприянова Н. И. К сему: Александр Пушкин. Горький, 1988.

Летописи ГЛМ. Пушкин — Летописи Государственного Литературного музея. Книга первая: Пушкин. М., 1936.

Летописи ГЛМ. Опека — Летописи Государственного Литературного музея. Книга пятая: Архив Опеки Пушкина. М., 1939.

ПВС-1, ПВС-2 — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974.

ПД — Пушкинский Дом (Институт русской литературы).

РА — Русский архив.

Стлб. — столбец.

Тархова-2, Тархова-3, Тархова-4 — Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. / Сост. М. А. Цявловский, Н. А. Тархова. Т. 2–4. М., 1999.

Фамильные бумаги-1 — Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов. Т. 1: Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828–1835. СПб., 1993.

Фамильные бумаги-2 — Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов. Т. 2: Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к мужу и к отцу. 1831–1837. СПб., 1994.

Ходасевич — Ходасевич В. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924.

Цявловский — Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799–1826/Сост. М. А. Цявловский. Л., 1991.

Щёголев — Щёголев П. Е. Пушкин и мужики: По неизданным материалам. М., 1928.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В. Ходасевич ИЗ КНИГИ «ПОЭТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУШКИНА» [273]

43.

<…> После отъезда прочих членов семьи из Михайловского Пушкин остался там наедине с няней. Так обстояло дело к концу ноября 1824 года. Вскоре мы застаём, однако, несколько иную картину, о которой можно судить по намёку в «Записках» И. И. Пущина. Почему-то на этот намёк не захотели обратить внимания. Между тем, в связи с другими обстоятельствами, он даёт возможность сделать немаловажные выводы.

Пущин пробыл в Михайловском один день: 11 января 1825 года. Описывая тот день, он между прочим рассказывает: «Мы обнялись и пошли ходить… Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порождённым исключительным его положением[274]: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и всё было понятно без всяких слов. Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси».

В этом отрывке нельзя не видеть прямого, недвусмысленного указания на роман Пушкина с одной из крепостных девушек, обитательниц Михайловского. Сцена описана очень тонкими, но отчётливыми чертами. «Значительная улыбка» Пушкина в ответ на «шаловливую мысль» подмигивающего Пущина является несомненным подтверждением пущинской догадки.

Итак, мы имеем дело с любовной историей, ещё не отмеченной биографами поэта. Однако если мы станем искать следов этого романа в тогдашних лирических стихах его или в письмах, — то не найдём ничего. Только если мы развернём четвёртую главу «Евгения Онегина», то в XXXVI–XXXIX строфах, писанных, приблизительно, вскоре после пущинского визита, — прочтём:

Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке.
……
Прогулки, чтенье, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцалуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый… и т. д.

Упоминание о «белянке» здесь не случайно: оно определяет то место, какое в тогдашней жизни Пушкина могла занимать девушка, замеченная Пущиным. Онегинская «чернооkая белянка» — это отчасти её портрет. То была лёгкая, неглубокая связь. От неё и остался такой же лёгкий, набросанный мимоходом, образ крепостной красавицы. Связывать же лёгкий очерк онегинской девушки с героиней пушкинского романа мы можем, основываясь на ясных словах самого поэта: *«В 4-ой песне Онегина я изобразил свою жизнь»* (письмо к Вяземскому, 27 мая 1826 года).

Если мы имеем так мало сведений о счастливой поре этого романа, то о его печальной развязке мы знаем уже значительно больше.

Со времени пущинского приезда в Михайловское прошёл год и четыре месяца — точнее, несколькими днями меньше. В начале мая 1826 года Пушкин писал Вяземскому в Москву: «Милый мой Вяземской, ты молчишь, и я молчу; и хорошо делаем — потолкуем когда-нибудь на досуге. Покаместь дело не о том. Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твоё человеколюбие и дружбу. Приюти её в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится — а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи). Ты видишь, что тут есть о чём написать целое послание во вкусе Жуковского *о поле;* но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах.

При сём с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется, — а нельзя ли его покаместь отдать в какую-нибудь деревню, — хоть в Остафьево[275]. Милый мой, мне совестно, ей-богу… но тут уж не до совести. Прощай, мой ангел; болен ли ты, или нет; мы все больны — кто чем.

Отвечай же подробно».

(На обороте): «Князю Петру Андреевичу Вяземскому. В Чернышевском переулке, в собственном доме. *Нужное*».

Пройдём мимо того легкомысленного тона, каким писано это послание. Оставим в стороне и ту жестокость, в какую здесь порой переходит легкомыслие Пушкина. Отметим лишь деловую сторону письма, извлечём содержащиеся в нём данные.

Итак, к началу мая 1826 года девушка оказалась беременной. На каком месяце? Долго ли оставалось до родов? Из письма этого не видно, но можно предположить, что то было во всяком случае не начало беременности. Скорее всего, беременность становилась заметной.

Пушкин, очевидно, предполагал, что девушка проживёт в Москве до родов, а после того отправится в Болдино, то есть в Нижегородскую губернию. Что отправка в Болдино должна была состояться после родов, видно из просьбы, чтобы Вяземский, живущий в Москве, позаботился о «будущем малютке» и отправил его «хоть в Остафьево».

Так понял Пушкина и Вяземский, — но с его планом не согласился. 10 мая он отвечает:

> «Сей час получил я твоё письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено мне оно твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим. Какой же способ остановить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца её сделать этого нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своём. Мой совет: написать тебе полу-любовное, полу-раскаятельное, полу-помещичье письмо блудному твоему тестю, во всём ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда, волею Божиею, ты будешь его барином и тогда сочтёшься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и к общей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего Бахчисарайского фонтана… Но оно не исполнительно и не удовлетворительно. Другого делать, кажется, нечего, как то, что я сказал, а во всяком случае мне остановить девушки (ou peu s'en faut[276]) нет возможности».

Дальше идут дела литературные. Однако из этого письма мы узнаём очень много. Во-первых, то, что девушка в Москве не

осталась, а была отправлена в Болдино. Во-вторых — что она ехала не одна, а с отцом и «семейством». Вряд ли в состав «семейства» входила мать: о матери Вяземский не сказал бы «семейство». Вернее всего, это были братья и сёстры, девушка же была полусирота, матери у неё не было. Третье обстоятельство, усматриваемое из письма Вяземского — это то, что отец ещё как будто не знал о беременности дочери, и неудобно было разлучать его с ней без объяснения причин. Следовательно, по мнению Вяземского, объяснения были неизбежны. Вяземский и советовал Пушкину сделать это в виде «полу-раскаятельного, полу-помещичьего» письма, с обещанием или с угрозою в будущем рассчитаться, смотря по поведению «блудного тестя». Однако из того обстоятельства, что Вяземский сам «живой чреватой грамоты» Пушкина не видал и письмо было доставлено не самой девушкой, а её отцом, — Вяземский всё дело представил себе несколько иначе, чем было в действительности. В этом недоразумении нам ещё придётся разобраться, пока же вернёмся к рассказу.

Письмо Вяземского задержалось, шло медленно. Не получая ответа на своё письмо, посланное с девушкой, Пушкин вновь пишет Вяземскому довольно пространное и весёлое письмо, где между прочим спрашивает: «Видел ли ты мою Эду?[277] вручила ли она тебе моё письмо? Не правда ли, что она очень мила?»

Но вскоре за тем он получил письмо Вяземского, согласился с его доводами и 27 мая отвечал: «Ты прав, любимец Муз, — воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу всё дело…»

На этом история обрывается. Письмо «блудного зятя и грядущего барина» до нас не дошло. Какова была дальнейшая судьба этого семейства — мы не знаем. Дожила ли героиня истории до родов? Благополучно ли родила? Мальчика или девочку? Где после жила и долго ли? Что сталось с ребёнком? Ничего не известно. Ни в переписке Пушкина, ни в рассказах и бумагах его современников обо всём этом нет больше ни намёка. Даже имя её не сохранилось. И мать, и ребёнок — как в воду канули.

А может быть, так и было?

Да, может быть, так и было.

44

Однажды немец Генслер написал пьесу «Donauweibchen»[278]. В самом начале XIX столетия некий Николай Краснопольский

переделал Генслерово творение, перенеся действие пьесы на Русь, русифицировав имена, кое-что пропустив, кое-что прибавив. В конце концов получилась у него «Леста, Днепровская русалка, опера комическая, в трёх частях». Опера эта, сбивающаяся то на феерию, то на водевиль, была поставлена в Петербурге: первая часть в 1803 году, вторая — в 1804-м, третья — в 1805-м.

У тогдашней публики «Днепровская русалка» имела большой успех. Некоторые отрывки из неё стали весьма популярны и долго распевались повсюду. В 1823 году, пишучи вторую главу «Онегина» и изображая атаки провинциальных невест на Ленского, Пушкин рассказывает:

Взойдёт ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару,
И запищит она (Бог мой!):
«Приди в чертог ко мне златой!..»

Эта песня «Приди в чертог ко мне златой» — одна из арий в первой части «Днепровской русалки», что Пушкин и указал в примечаниях к своему роману.

В 1817–1818 годах, живя в Петербурге, Пушкин усердно посещал театры. Не знаю, однако, ставилась ли в те годы «Днепровская русалка» и был ли Пушкин на её представлении. Из того факта, что в 1823 году он в указанном примечании к «Онегину» точно обозначил происхождение арии «Приди в чертог ко мне златой», — можно заключить лишь то, что опера Краснопольского была ему известна. Может быть, он видел её в театре, может быть, читал, так как «Днепровская русалка» не раз была издана до 1823 года. Из того, что он вкладывает арию в уста комически изображаемой девицы, можно вывести предположение, что и вообще его отношение к «Днепровской русалке» было ироническим.

Но вот, как бы то ни было, несомненен тот факт, что, забыв на время о «Днепровской русалке», — Пушкин впоследствии вновь возвращается к ней и дарит её весьма пристальным вниманием. Несомненным и очевидным влиянием «Днепровской русалки» отмечены три произведения Пушкина: отрывок «Как счастлив я…», «Яныш королевич» (одна из «Песен западных славян») и наконец «Русалка», одно из выдающихся произведений

Пушкина, — «Русалка», которой он не закончил, но над которой трудился и думал, по-видимому, несколько лет, до самой смерти: в свой последний приезд в Москву, в мае 1836 года, он привозил с собой черновик «Русалки» и читал его Нащокиным.

Зачем же нужно было знаменитому и великому Пушкину заимствовать сюжет и даже некоторые подробности у безвестного и бездарного Краснопольского? Зачем было богачу занимать у нищего? Разве у самого Пушкина не хватало сюжетов? Разве он сам не составил списка задуманных драм, «Ромул и Рем», «Беральд Савойский», «Влюблённый бес», «Курбский»? Почему не обратился он к этим сюжетам, — а трудился над «Русалкой», которая прежде всего вызовет злорадные упрёки в заимствовании, — да ещё у кого? У какого-то Краснопольского.

Мне кажется, мы достаточно, в общем, знакомы с пушкинской психологией, чтобы ответить на эти вопросы.

Пушкин, прежде всего, никогда не принадлежал к тем писателям, которые способны заниматься «сюжетом ради сюжета». Он всегда писал *для себя,* то есть писание было для него формой раздумия и исповеди. В основе каждого пушкинского произведения лежит всегда какой-нибудь философский, моральный или исторический вопрос, — который у него и разрешается в процессе создавания вещи. Никак не мыслимо допустить, чтобы Пушкин мог годами работать над «Русалкой» — единственно ради того, чтобы получше написать то же, что Краснопольский написал похуже. Если Пушкин взялся за «Русалку» — значит, она ему была не сюжетно, а внутренно важна и близка; значит, с этим сюжетом было для него связано нечто более интимное и существенное, чем намерение литературно состязаться с Краснопольским. Скажу прямо: «Русалка», как весь Пушкин, — глубоко автобиографична. Она — отражение истории с той девушкой, которую поэт «неосторожно обрюхатил». Русалка это и есть та безымянная девушка, которую отослали рожать в Болдино, князь — сам Пушкин.

45.

В бумагах Пушкина сохранился листок с наброском стихотворения, под которым помечено: «13 Nov. C. Kosak…» или «23 Nov. C. Kosa…» Морозов, впервые напечатавший этот набросок в IV томе Академического издания, читает помету так: «23 Novembre. Село Козаково». Село это находится на дороге из Острова в Новоржев, и Пушкин мог быть там 23 ноября 1826-го или 1828 года. Ряд обстоятельств, подробное обсуждение которых

заняло бы здесь слишком много места, заставляет относить пьесу именно к 1826 году, как это сделал и сам Морозов. Впрочем, особо важного значения этот вопрос для нас в данном случае не представляет. Приурочим ли мы набросок к 1826 году или к 1828 году, — хронологическое отношение его к занимающей нас «Русалке» не изменится. Он во всяком случае является самой ранней из дошедших до нас рукописей, касающихся «Русалки», однако пока морозовская датировка не опровергнута, признаем её правильной и обратимся к наброску. Вот его текст:

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубровы
На берега сих молчаливых вод.
О, скоро ли она со дна речного
Подымется, как рыбка золотая?
Как сладостно явление её
Из тихих волн, при свете ночи лунной!
Опутана зелёными власами,
Она сидит на берегу крутом.
У стройных ног, как пена белых, волны
Ласкаются, сливаясь и журча.
Её глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звёзды;
Дыханья нет из уст её, но сколь
Пронзительно сих влажных синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья.
Томительно и сладко — в летний зной
Холодный мёд не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается, тогда
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьётся,
Томительно любовью замирая.
И в этот миг я рад оставить жизнь,
Хочу стонать и пить её лобзанье —
А речь её… Какие звуки могут
Сравниться с ней — младенца первый лепет,
Журчанье вод, иль майской шум небес,
Иль звонкие Бояна Славья гусли.

Отсылая девушку из Михайловского, Пушкин так или иначе собирался заботиться о «будущем малютке, если то будет мальчик». Между тем никаких следов подобной заботы мы не встречаем в дальнейшем ни у самого Пушкина, ни у кого-либо из близких к нему людей. Если даже допустить, что младенец оказался девочкой, а Пушкин был так жесток, что за это не проявил никакого к нему внимания, то всё же довольно удивительно это бесследное исчезновение и ребёнка, и его матери. Если же наконец, как это ни трудно, допустить, что ребёнок с матерью жили в Болдине, ничем, никогда не напоминая о своём существовании, — то придётся допустить нечто ещё более невероятное: психологическую возможность для Пушкина-жениха в 1830 году, перед самой свадьбой, отправиться для осенних вдохновений в это самое Болдино, где живёт его собственный ребёнок со своей матерью. Несомненно, что если бы возможность такой встречи существовала, то Пушкин в Болдино не поехал бы. Меж тем он поехал. Далее мы ещё коснёмся его болдинских настроений осенью 1830 года. Они оказались нерадостными, быть может, отчасти в связи с занимающей нас историей. Но несомненно, что едучи в Болдино, он был гарантирован от реальной встречи с брошенной любовницей и её ребёнком. То же самое нужно сказать и о поездке Пушкина в Болдино осенью 1833 года. Наконец нужно вспомнить и мечты, занимавшие Пушкина летом 1834 года. Так, 18 мая он писал жене: «Дай Бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых! да плюнуть на Петербург <…> да удрать в Болдино, да жить барином!» Решительно немыслимо допустить, чтобы Пушкин мог мечтать переселиться с женой и детьми в то самое Болдино, где в качестве какой-нибудь птичницы живёт его бывшая любовница и «дворовым мальчиком» бегает его сын. Конечно, ни этой женщины, ни ребёнка в Болдине давно уже не было.

Как ни тяжело это высказать, всё же я полагаю, что девушка погибла — либо ещё до прибытия в Болдино, либо вскоре после того. Возможно, что она покончила с собой — может быть, именно традиционным способом обманутых девушек, столько раз нашедшим себе отражение и в народной песне, и в книжной литературе: она утопилась. Но какова бы ни была фактическая обстановка её гибели, — Пушкин должен был сознавать, что виновник этого — он, что его сравнение девушки с Эдой (в письме к Вяземскому) оказалось пророческим. Когда именно дошла до него печальная весть, — в точности определить невозможно. Во всяком случае, к 23 ноября 1826 года, к моменту написания «Как счастлив я…», тема соблазнённой и покинутой девушки, «тема русалки», стала для Пушкина

автобиографической. В этом наброске она получила лишь первый очерк.

В начале сентября 1826 года опальный Пушкин был прощён и вытребован Николаем I из Михайловского в Москву. Он приехал туда во время коронационных торжеств и тотчас доставлен был во дворец. После этого он почти два с половиной месяца провёл в Москве, окружённый шумным успехом, в самом центре литературной и светской сутолоки. Ещё 16 сентября он писал П. А. Осиповой: «Moscou est bruyant et dans les fêtes, à tel point que j'en suis déjà fatigué et que je commence à soupirer après Михайловское»[279]. Тем более 23 ноября, в глухом селе Козакове, должен он был наконец вздохнуть с облегчением. Наряду с этим, вновь очутившись в родных местах (за несколько дней перед тем он был в самом Михайловском), он, по своей привычке вспоминать и сопоставлять, вспомнил другой свой приезд в Михайловское — в 1819 году. Тогда, только что расставшись с разгульной и шумной петербургской жизнью, он написал «Деревню» такими словами:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льётся дней моих невидимый поток
  На лоне счастья и забвенья.
Я твой — я променял порочный двор Цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей…

<…> Да, Пушкин вспомнил свою «Деревню», ранние годы своей «мятежной юности»; вспомнил он и те «вольнолюбивые надежды», которые в нём кипели тогда. Вспомнились ему и дальнейшие стихи той же пьесы:

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
  Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде Невежества убийственный Позор.
  Не видя слёз, не внемля стона,
На пагубу людей избранное Судьбой,
Здесь *Барство* дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по браздам
  Неумолимого Владельца.

Здесь тягостный ярём до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея…

Былой «друг человечества» мог теперь применить эти слова к себе. И вот, уже зная об участи девушки (может быть, получив известие именно в Москве), Пушкин пишет «Как счастлив я…». Его собственное положение напоминает ему историю Князя и Лесты из оперы Краснопольского, — и свои воспоминания о любовнице он маскирует под видом лирического монолога этого Князя. Но, как почти всегда у Пушкина, из-за речи «героя» выглядывает чуть заметный кончик автобиографии. Здесь он дан в форме автореминисценции… из «Деревни». Стихи:

…Я променял порочный двор Цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров…

превращаются в первые же стихи нового наброска:

Как счастлив я, когда *могу покинуть*
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные *дубровы…*

Набросок дальнейшей обработке не подвергся. Но у нас есть основание считать, что в сознании Пушкина он *остался связанным с представлением о Михайловском, то есть с тем местом, где разыгралась история романа Пушкина и его крепостной.* И опять — связь эта проступает в автореминисценции…

Через восемь месяцев после наброска «Как счастлив я…», побывав снова в Москве, а затем и в Петербурге, Пушкин опять возвращается в Михайловское и здесь, 15 августа 1827 года, пишет «Поэта»: стихи о бегстве, если не от «двора», то, во всяком случае, от «забот суетного света». И как в наброске 1826 года субъект монолога «счастлив был»

…Убежать *в пустынные дубровы*
На берега сих молчаливых вод… —

так теперь поэт бежит

На берега пустынных волн,
В широкошумные *дубровы…*

При этом мы имеем право утверждать, что «Поэт» здесь не только поэт вообще, но и непосредственно сам Пушкин; что «волны» и «дубровы» здесь означают не только природу и уединение вообще, но и совершенно конкретно могут быть отождествляемы с «дубровами» Михайловского. Такой конкретно-автобиографический смысл «Поэта» вполне подчёркнут самим Пушкиным, который вслед за написанием этого стихотворения пишет Погодину: «Я убежал в деревню, почуя рифмы»

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружон…

и т. д., всё стихотворение до конца, даже без заглавия, то есть именно как продолжение письма о событиях личной жизни («Я убежал вдеревню…»), — как объяснение причин поездки в Михайловское в конце лета 1827 года.

Впоследствии мы увидим, что связь наброска с Михайловским подтвердится ещё раз.

47.

Та, о которой говорится в «Как счастлив я…», — представляется существом мифического происхождения. Точнее: в наброске нет указаний на то, что она превратилась в русалку, а прежде была земной девушкой. Полагаю, что такая метаморфоза в момент написания наброска ещё представала воображению Пушкина. Можно, пожалуй, допустить, что Пушкин, маскируя свою интимную тему приёмом заимствования у Краснопольского, сознательно заимствовал и русалку такою, какова она в опере. Но ещё вероятнее, что Пушкин на первых порах находился под сильным автоматическим влиянием своего литературного «источника». Возможно, наконец, что если «Как счастлив я…» представляет отрывок задуманной драмы, то Пушкин, пишучи его, действительно, как выразился Морозов, «начинал с конца» (или, скажем мы, с середины): это могло произойти оттого, что

поэт сознавал разницу между героиней Краснопольского, прирождённой русалкой, и крестьянской девушкой, тревожившей его совесть, — но ещё не знал, как построить сюжет, чтобы он был, с одной стороны, ближе к правде, с другой — чтобы эта правда была хорошо замаскирована «заимствованием» у Краснопольского. Иначе говоря, Пушкин начинал «с конца» или «с середины» потому, что ещё не уяснил себе происхождение героини и, следовательно, не мог взяться за первые сцены предполагаемого произведения. Этот вопрос Пушкин разрешил позже, когда, отложив свой первый набросок, приступил к новой обработке той же темы.

Кроме наброска «Как счастлив я…», мы знаем ещё две таких обработки: это — «Яныш королевич», пьеса, вошедшая в «Песни западных славян», и драма «Русалка». Остановимся на хронологии этих пьес.

Все «Песни западных славян» принято огульно относить к 1832–1833 годам. Хронология «Русалки» ещё более темна. Единственная точная и несомненная дата, 27 апреля 1832 года, стоит под беловым автографом первой сцены и доказывает лишь то, что в апреле 1832 года Пушкин над «Русалкой» работал. То обстоятельство, что драма доведена до шестой сцены, но ещё не закончена, показывает, что дальнейшая обработка продолжалась и после указанного срока. Таким образом, если относить «Яныша королевича» к 1832 или 1833 году, то нам придётся допустить слишком малоправдоподобную возможность: именно ту, что в 1832 или 1833 году Пушкин, работая над большой драмой, одновременно обрабатывал тот же сюжет и в эпической форме. Столь же маловероятно было бы и предположение, что «Яныш королевич» написан в начале 1832 года, но затем Пушкин его бросил, взялся за драму и к 27 апреля успел закончить и переписать её первую сцену. Если же примем во внимание, что начало работы над «Русалкой», хоть и без документальных оснований, всеми исследователями относится не позже, чем к 1830 году, то опять-таки придётся либо допустить, что, работая уже 2–3 года над драмой и не бросая этой работы, Пушкин зачем-то стал эпически обрабатывать тот же сюжет ещё и в «Яныше королевиче», — либо считать, что «Яныш королевич» писан *ранее начала работы над «Русалкой»,* то есть ранее октября 1830 года.

Последнее и будет верно. История «Песен западных славян» нисколько этому не противоречит. *Если* даже «Песни» действительно писаны в 1832–1833 годах, *если* даже Пушкин до этого времени не видал сборника Мериме (вышедшего в 1827 году), то всё же «Яныш королевич» мог быть написан раньше, ибо он не принадлежит к числу пьес, переведённых из Мериме. Сюжет

его, которого напрасно ищут (и не находят) в каком-то чешском эпосе, давно был известен Пушкину из «Днепровской русалки» и — увы! — из личного опыта. Что же касается формы стиха, то Пушкин мог быть знаком с ней раньше, чем с книгою Мериме. Наконец, как весьма убедительно доказал недавно Ю. Оксман[280], внимание Пушкина к сборнику Мериме могло быть привлечено ещё в 1828 году статьями «Северной пчелы». Примечание Пушкина к «Янышу королевичу» отчасти может служить подтверждением нашего мнения. Пушкин говорит: «Песня о Яныше королевиче в подлиннике очень длинна и разделяется на несколько частей. Я перевёл только первую, и то не всю». Так как «подлинника» её, несмотря на все поиски, доныне открыть не удалось, то вернее всего считать, что его и не было, как не было «подлинников» «Скупого рыцаря», стихов «На выздоровление Лукулла» и т. п. мнимо переводных вещей Пушкина. В этом примечании мы встречаемся с нередким у Пушкина приёмом маскировки автобиографического произведения при помощи ссылки на несуществующий подлинник. Указание же на фрагментарность «Яныша королевича», на перевод лишь «первой части» его, помимо того, что такое указание служит оправданием архитектонической незаконченности пьесы, содержит, я полагаю, намёк на то, что после первой обработки сюжета в «Как счастлив я…» (быть может, в лирической форме) Пушкин пробовал обработать его в эпической форме в «Яныше королевиче», но изменил замысел и обратился к третьей обработке, на сей раз — в драматической форме, подсказанной Краснопольским и, кстати, ещё более удобной в смысле возможности выдать *свою* «Русалку» за подражание Краснопольскому.

Таким образом, не датируя пьесу точно, я отношу её ко времени не позднее октября 1830 года. Возможно, что именно в октябре 1830 года Пушкин и перешёл непосредственно от «Яныша королевича» к «Русалке».

48.

Первое, что бросается в глаза в «Яныше», это разница между Елицей и Лестой, а также и той, о ком идёт речь в «Как счастлив я…». И Леста, и героиня пушкинского наброска (первая — несомненно, вторая — вероятно) суть русалки по происхождению. Елица — уже земная девушка, обольщённая королевичем и утопившаяся с горя. В том, что она стала русалкой, то есть погибла и погубила свою душу вместе с душою ребёнка, вина

падает на королевича. И если в песне мы не видим со стороны королевича никаких проявлений раскаяния, если совесть его, по-видимому, молчит, то автор, Пушкин, проявляет со своей стороны большое внимание к драме брошенной девушки:

Полюбил королевич Яныш
Молодую красавицу Елицу,
Любит он её два красные лета,
В третье лето вздумал он жениться
На Любусе, чешской королевне.
С прежней любой идёт он проститься.
Ей приносит с червонцами черес,
Да гремучие серьги золотые,
Да жемчужное тройное ожерелье;
Сам ей вдел он серьги золотые,
Навязал на шею ожерелье,
Дал ей в руки с червонцами черес,
В обе щеки поцеловал молча
И поехал своею дорогой.
Как одна осталася Елица,
Деньги наземь она пометала,
Из ушей выдернула серьги,
Ожерелье на-двое разорвала,
А сама кинулась в Мораву.

Таким образом, при вторичной обработке сюжета Пушкин сделал два чрезвычайно существенных отступления от Краснопольского: мифическое существо, русалку, превратил в земную девушку и показал нам её трагическое положение. Автобиография проступила наружу. Позднее, в «Русалке», она проступает ещё отчётливее.

49.

Как ни скуден фактический материал, который даётся перепискою Пушкина с Вяземским, — всё же на основании его можно восстановить события и обстоятельства, предшествовавшие отъезду девушки из Михайловского.

Отправляя девушку с отцом в Москву, Пушкин предполагал, что она лично «вручит» письмо Вяземскому. Но из ответа Вяземского мы видим, что случилось иначе. Очевидно, что девушка и её отец, по приезде в Москву, явились не к Вяземскому, а к своему барину, отцу Пушкина. Писал ли Пушкин также и

Сергею Львовичу, неизвестно. Но несомненно, что прежде доставления письма Вяземскому Сергей Львович уже решил участь всего «семейства», назначив отца девушки управляющим в Болдино. Что это назначение состоялось до получения пушкинского письма Вяземским, видно из первой фразы ответного письма Вяземского: *«Сей нас* получил я твоё письмо, но живой чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено мне оно твоим человеком. Твоя грамота едет завтра с отцом своим и семейством в Болдино, куда *назначен* он твоим отцом управляющим». Из этого в свою очередь видно, что письмо доставил Вяземскому отец девушки. От него же (а может быть, из какого-нибудь письма С. Л. Пушкина) Вяземский узнал и о предстоящей отправке семейства в Болдино. Однако никакого разговора с отцом девушки относительно причин переселения из Михайловского Вяземский не вёл. Он, очевидно, предполагал, что отцу девушки неизвестно, что виновник беременности — Пушкин. Это предположение Вяземского явствует из его совета Пушкину: написать «блудному тестю полу-любовное, полу-раскаятельное, полу-помещичье письмо» и *«во всём ему признаться».* Но Вяземский заблуждается: «признаваться» Пушкину было уже поздно, потому что «блудный тесть» всё уже знал. И не только знал, но и высказывал ко всей истории некоторое своё отношение. Видно это вот из чего.

В первом письме своём Пушкин просил Вяземского: «Приюти её (девушку. — *В. Х.)* в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится». Это значит, что у самого Пушкина денег не было, на Сергея Львовича он, по обыкновению, не рассчитывал, а девушке нужны были деньги на расходы, сопряжённые с родами, которые, как предполагал Пушкин, состоятся в Москве. Но в Москве дело обернулось иначе, девушка с отцом и семейством была отправлена в Болдино — и нужда в деньгах Вяземского как будто отпала. Однако, получив письмо Вяземского и соглашаясь с его советами, Пушкин тотчас же прибавляет: «Должен ли я тебе что-нибудь или нет? отвечай. *Не взял ли с тебя чего-нибудь мой человек, которого отослал я от себя за дурной тон и дурное поведение?»* Вот эта-то фраза и проливает некоторый свет на то, что произошло в Михайловском. Из неё следует, что к тому моменту, когда выяснилась беременность девушки, отец её стал проявлять «дурной тон и дурное поведение» — до такой степени, что Пушкин его «отослал от себя» к непосредственному начальству — к Сергею Львовичу. Так как в задачу Пушкина не входит вообще насаждение хорошего тона среди отцовских крепостных, то, следовательно, «дурной тон» отца беременной девушки был проявлен по адресу самого Пушкина. Спрашивается,

в чём это могло выразиться? Вряд ли здесь можно предположить что-нибудь иное, нежели то, что «человек» недостаточно почтительно говорил с молодым барином и недостаточно лестно квалифицировал его поступок. Что значит «дурное поведение»? Да несомненно — то, что отец девушки говорил «лишнее» при дворовых людях, может быть — скандалил, ругая Пушкина. Наконец, из того, что фраза о «дурном тоне и дурном поведении» непосредственно связана с вопросом: «Не взял ли с тебя чего-нибудь мой человек?» — можно вывести заключение, что «дурной тон» по отношению к Пушкину отчасти выражался и в требовании денег, по «тону» довольно решительном, потому что даже Вяземского Пушкин не спрашивает: *«Не давая ли ты* чего-нибудь моему человеку?» — а: *«Не взял ли с тебя* чего-нибудь мой человек?»

То, что Пушкин в своём ответе обещает следовать совету Вяземского и письмом уладить всё «дело», вовсе не значит, что Вяземский был прав, полагая, будто беременность дочери отцу неизвестна.

Пушкин понял, что Вяземский заблуждается; но дело было кончено, девушка уже отправлена в Болдино, — и Пушкин не хотел пускаться в ненужные пояснения. Во всём этом деле он оказался скуп на слова, а потому и теперь только вскользь намекнул на обстоятельства отправки девушки в цитированной фразе относительно тона и поведения её отца. Написать же отцу письмо всё равно было нужно, так как девушка оказалась при нём и требовалось, как и советовал Вяземский, «поручить ему судьбу дочери и грядущего творения». Пушкин потому-то и пишет: «воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина», что письмо его после происшедшей ссоры должно было быть «полу-любовным, полу-помещичьм», в этих двух определениях оно совпадало с советом Вяземского. Но Пушкин не упоминает о намерении «во всём признаться», — ибо признаваться было уже поздно и ненужно: отец всё знал.

Таким образом, из пушкинского намёка извлекаются следующие сведения: отец девушки знал о связи дочери с Пушкиным, барина молодого не одобрял, но материальную пользу из этой связи старался извлечь; отношения его с Пушкиным обострились — и привели к разлуке поэта с возлюбленной.

50.

Если бы Пушкин выдумал жениться на крепостной своего

отца, то и она, и её отец, и «грядущее творение» были бы счастливы. Но нам нет нужды пояснять, что по условиям эпохи, семьи, состояния, по всему внутреннему несоответствию Пушкина и обитательницы его девичьей, наконец — отчасти, вероятно, и по характеру его увлечения, — такая мысль не могла даже серьёзно прийти ему в голову. И вот, эта социальная разница как коренная причина разлуки проступает в пушкинской обработке «русалочьего» сюжета с первого же момента, как природную русалку Краснопольского Пушкин заменил земною девушкой. Уже те подарки, которые делает королевич Елице, особенно то, что он даёт ей деньги, указывают на незнатное происхождение Елицы. В «Русалке» разница ещё открытее выражена тем, что возлюбленная Князя — простая Дочь Мельника.

Разлука социально неравных любовников всего чаще в литературе мотивируется браком одного из них. Такой брак является конкретной формой и выражением общественной причины, вызывающей разлуку. По отношению к любовным переживаниям героев он играет роль грубой силы, извне идущего принуждения. Согласно этой традиции, разлука Лесты и князя в опере Краснопольского мотивирована браком князя, причём неравенство социальное заменено неравенством фантастическим: от мифической русалки князь уходит к земной женщине.

Эту мотивировку браком Пушкин сохранил для разлуки королевича с Елицей, а потом — Князя с Дочерью Мельника. Это было для него удобно по трём причинам: во-первых, со стороны чисто сюжетной, ибо здесь давался ему готовый, традиционный и, следовательно, самый простой сюжет, то есть наиболее вместительный и свободный для наполнения идейным и психологическим содержанием; во-вторых, сохраняя главную завязку чужой оперы, Пушкин удачно маскировал автобиографический смысл своей драмы; в-третьих — и это самое главное — брак, разлучающий Князя с Дочерью Мельника, являлся, по ходу драмы, внешним выявлением таких же специальных причин, какие разлучили самого Пушкина с его крепостной. Изображая разлуку Князя с Дочерью Мельника, Пушкин, лишь слегка применяясь к введённому им мотиву брака, мог отдаться воспоминаниям и мыслям о событиях его собственной жизни. Свои истинные взаимоотношения с возлюбленной и её отцом Пушкин, под углом сюжетного преломления, проецировал в первой сцене «Русалки» точно так же, как михайловское столкновение с С. Л. Пушкиным проецировано в «Скупом рыцаре».

Открыв Дочери Мельника, что настал час разлуки, неизбежное следствие неравенства, Князь говорит:

Что делать?
Сама ты рассуди. Князья не вольны,
Как девицы — не по́ сердцу они
Себе подруг берут, а по расчётам
Иных людей, для выгоды чужой.

В этом «Что делать?», в ссылке на то, что «князья не вольны», — свидетельство того, что Князь рад бы был поступить по долгу сердца и совести — да не может пойти против социальной неправды. Конечно, такое бессилие сознавал в себе и сам Пушкин, отправляя девушку в Болдино. В числе других легкомысленных мест его препроводительного письма к Вяземскому есть и такой каламбур: «Милый мой, мне совестно, ей-богу… но тут уж не до совести». Совесть, однако, заговорила. Пишучи первые сцены «Русалки», он растравлял душевную свою рану. Он знал, что на его поступок можно взглянуть с очень невыгодной стороны, со стороны моральной и социальной правды — и выразителем этого взгляда сделал Мельника.

Мельник очень похож на отца михайловской швеи. Он холоп, раб; он придавлен, у него — грубая корысть, он даёт дочери пошлейшие советы: заманивать Князя.

Порою исподволь обиняком
О свадьбе заговаривать — а пуще
Беречь свою девическую честь —
Бесценное сокровище…
……
А коли нет на свадьбу уж надежды,
То всё-таки по крайней мере можно
Какой-нибудь барыш себе — иль пользу
Родным да выгадать…
……
Эй, дочь, смотри; не будь такая дура,
Не прозевай ты счастья своего,
Не упускай ты князя…

В другом месте он не забывает подсказать дочери:

Вот если б ты у князя
Умела выпросить на перестройку

Хоть несколько деньжонок, было б лучше.

В сцене прощания с Дочерью Мельника Князь даёт ей денег и прибавляет: «Отцу я это посулил. Отдай ему». Значит, Мельник, не полагаясь на дочь, успел сам добиться того, что Князь посулил ему денег. Жадность до денег так была в нём крепка, что не покинула и в безумии. После несчастия с дочерью покидал было деньги в Днепр, но потом пожалел об этом. Русалочка рассказывает:

На землю выходила
Я к дедушке. Всё просит он меня
Со дна реки собрать ему те деньги,
Которые когда-то в воду к нам
Он побросал.

На основании этого упорного мотива я и думаю, что «дурной тон и дурное поведение» «блудного тестя» заключались в вымогательстве денег, которых у Пушкина, в отличие от Князя, не было, но которые, по расчётам Пушкина, «тесть» мог при удобном случае сорвать хоть с Вяземского.

Этих денег Пушкин не забыл своему недругу. Но в связи с ними же он сумел показать и добрую сторону Мельника. Когда дочь, в отчаянии, укоряет отца:

…тебе отдать
Велел он это серебро, за то,
Что был хорош ты до него, что дочку
За ним пускал таскаться, что её
Держал не строго… В прок тебе пойдёт
Моя погибель…

Мельник поражён этой несправедливостью:

До чего я дожил!
Что Бог привёл услышать! Грех тебе
Так горько упрекать отца родного.
Одно дитя ты у меня на свете,
Одна отрада в старости моей.
Как было мне тебя не баловать?
Бог наказал меня за то, что слабо
Я выполнил отцовский долг.

Эти слова не лицемерие. Мельник действительно глубоко любит дочь — только любовь эта выражается у него соответственно его рыбьей природе. Но когда дочь гибнет, отец сходит с ума.

Это обстоятельство немаловажно. Каков бы ни был Мельник, Пушкин признаёт в нём великую любовь к дочери. Делая его лицом трагическим, за свою любовь гибнущим, Пушкин тем самым в конечном счёте ставит его весьма высоко, то есть как бы примиряется с ним и оправдывает его.

Этот мотив примирения с несчастным отцом, каков бы он ни был, звучит и ещё в одном произведении Пушкина, в «Станционном смотрителе». Станционный смотритель имеет немало общего с Мельником. Как Мельник (и как отец пушкинской любовницы), станционный смотритель — вдовец. Как Мельник, — он очень любил и баловал свою дочь. Как Мельник, он потом каялся, что не строго держал её. Как и Мельнику, соблазнитель даёт ему деньги. И он «сжал бумажки в комок, бросил их на земь», как Мельник побросал серебро в воду. И он потом пожалел о деньгах: «Отошед несколько шагов, он остановился, подумал… и воротился… но ассигнаций уже не было». И он тоже — подневольный, придавленный человек. И он, не перенеся гибели дочери (или того, что *кажется* ему гибелью), тоже, как Мельник, теряет человеческий облик: он спивается — и его пьянство в повести Пушкина занимает то же место, как в драме — сумасшествие Мельника. Разница же между Мельником и станционным смотрителем заключается только в том, что, если не считать минутного соблазна вернуться и взять деньги, — станционный смотритель лишён сознательного корыстолюбия Мельника. Лишённый этого порока, он и вышел гораздо более благовидным, отчасти даже идеализированным. Так это и должно было случиться, потому что «Станционный смотритель», в некотором смысле, есть вариант «Русалки». Тогда как последняя должна была в сущности явиться трагедией любовников, в которой трагедия отца составляет лишь эпизод, — «Станционный смотритель» есть трагедия самого отца. Мне думается, что Пушкин в «Станционном смотрителе» потому-то и разрешил судьбу любовников так благополучно, что хотел выдвинуть и резко очертить драму отца. То, что несчастие дочери только мерещится станционному смотрителю, а в действительности она счастлива, — всё это лишь подчёркивает несчастие старика. Судьбу дочери старик почитает гибельной вследствие своего предрассудка, — но душевно он оттого не менее несчастен, чем

если бы дочь погибла в действительности. Её счастливая судьба, её пышный приезд на убогую могилу смотрителя — лишь светлый фон, на котором тем резче вычерчивается горестный образ отца.

Благополучная участь, данная Пушкиным Дуне и Минскому, как бы пародирует участь героев «Русалки» и скрывает мысль, не лишённую лукавства: вот какова была бы моя жизнь, если б я был богат и свободен от родных, от преследования правительства; если б я мог делать, что хочу, жить — где хочу; да если бы любовь простой девушки могла дать мне прочное счастье; да если бы я мог таким счастьем удовлетвориться, вообще мог бы стать, как все: как гусар Минский, например.

52.

Из письма Вяземского видно, что отец девушки, назначенный управляющим в Болдино, отправился туда 11 мая 1826 года. С этого дня след его пропадает. О нём мы тоже ничего не знаем. Из дальнейшей переписки Пушкина[281] можно усмотреть лишь то, что ещё *ранее 13 апреля 1834 года* управление Болдиным было поручено С. Л. Пушкиным «г-ну И. М. Пеньковскому». Неизвестно, когда именно вступил в должность Пеньковский и принял ли он её непосредственно от крепостного человека Пушкиных. То, что фигуры отцов и в «Русалке», и в «Станционном смотрителе» вполне оригинальны, а не заимствованы у Краснопольского, и то, что судьбы этих отцов в обоих пушкинских произведениях в сущности одинаковы, — наводит на мысль, что и судьба их «оригинала» была приблизительно такова же. Вряд ли михайловский мужик столь же романтически сошёл с ума, как в «Русалке» Мельник, но вполне возможно и житейски правдоподобно, что он спился и опустился, как станционный смотритель. Возможно, что Пушкин видал его в 1830 году в Болдине в таком состоянии. Тогда-то он и понял, что преобладающей чертой в этом человеке всё же была любовь к дочери. Пишучи «Станционного смотрителя», Пушкин уже готов был забыть грубое корыстолюбие своего «тестя». Теперь он допускал, что старик был бы глубоко несчастен даже в том случае, если б его дочь осталась жива и жила бы счастливо: отца угнетала бы мысль, что она стала барской любовницей; её положение казалось бы ему позорным. Даже и само это внешнее благополучие представлялось бы ему непрочным. И он, как и станционный смотритель, сказал бы: «Не её первую, не её последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в

атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы…»

Словом, Пушкин готов был допустить, что только брак, то есть полное восстановление справедливости, мог бы примирить отца с судьбой дочери. Может быть, впрочем, Пушкин был и не так уж далёк от истины. Может быть, как я уже говорил, «дурной тон и дурное поведение» отца девушки проявились именно в требовании не только денег, но и того, чтобы Пушкин «покрыл грех». Ведь наряду с крепостными любовницами мы знаем и ряд случаев женитьбы на крепостных. Может быть, в 1830 году Пушкин задумался поглубже, чем в 1826 году, — и понял, что в самом деле в душе этого мужика расчётец и жадность жили рядом с отчётливым и бунтарским сознанием социальной несправедливости. Как бы то ни было, в «Русалке» Пушкин достиг высшей степени примирения и раскаяния: своего бывшего недруга он сделал своим обличителем. В уста Мельника он вложил ту кратко выраженную, но горестную правду, которую можно было сказать о Князе.

Из слов Мельника в самом начале первой сцены видно, что он всегда относился с недоверием к Князю. Княжескую любовь считал он опасной для дочери, Князя — готовым бросить возлюбленную в любую минуту:

…а милый друг
Глядь и пропал, и след простыл…

Он почитал Князя лгуном, а дела княжьи бездельем. Когда дочь объясняет долгое отсутствие возлюбленного тем, что

Он занят; мало ль у него заботы?
Ведь он не мельник — за него не станет
Вода работать. Часто он твердит,
Что всех трудов его труды тяжеле, —

Мельник отвечает:

Да, верь ему. Когда князья трудятся
И что их труд? травить лисиц и зайцев,
Да пировать, да обижать соседей,
Да подговаривать вас, бедных дур.

В этих словах Мельника — трезвое и безжалостное осознание Пушкиным своего поступка. Тут «друг человечества» смотрится в зеркало — и видит «развратного злодея».

Но на этом примирение Пушкина с отцом девушки не остановилось: как у Шекспира тени убитых являются убийцам, так воплощённым укором совести является Князю безумный, «ставший не человеком» Мельник. Некогда Пушкин собирался «воспользоваться правами блудного *зятя*». За эту жестокую шутку Мельник, встречая Князя, тотчас говорит ему:

Здорово,
Здорово, *зять*.
<Князь.>
Кто ты?
<Старик.>
Я здешний ворон.

Далее весь разговор ведётся так, что в форме безумного бреда встаёт для Князя вся правда о его проступке. Теперь уже не угодливый Мельник, а зловещий ворон говорит Князю:

В твой терем? нет! спасибо!
Заманишь, а потом меня, пожалуй,
Удавишь…

И Князь сознаёт отчётливо:

И этому всё я виною!

И далее вполне точно определяет значение встречи с Мельником:

Старик несчастный! *вид его во мне*
Раскаянья все муки растравил!

53.

Пушкин рано узнал, что такое раскаяние и «змия воспоминаний». Уже в «Борисе Годунове» он формулировал:

…ничто не может нас

Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над тёмной клеветою —
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося;
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальётся сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрёк…

Впоследствии тема раскаяния проходит через целый ряд его произведений. Таковы: «Череп» (1827), «Утопленник» (1828), «Воспоминание» (1828), «Воспоминание в Царском Селе» (1829), «Каменный гость» (1830), «Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы» (1830), «Когда в объятия мои…» (1830). Тот же мотив более отдалённо звучит и в других вещах, например, в «Онегине», в «Полтаве». Можно бы сказать, что голос воспоминания в огромном большинстве случаев вызывал в нём голос раскаяния.

Пушкин был необычайно, до бесстрашия, честен и прям с собою. Раскаяться — это не значило для него припомнить, погрустить и постараться забыть. Напротив, это значило — воскресить событие во всех подробностях, во всей полноте, прямо взглянуть в глаза правде. «Раны совести» он в себе бередил безжалостно:

В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

Осенью 1830 года, в Болдине, перед женитьбой, он много раз перечёл этот свиток. Он заканчивал весь предыдущий период своей жизни — и подводил итоги. Он стремительно закончил произведения, начатые давно: «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Каменного гостя». Он вспомнил женщин, которых любил когда-то, и живых («Прощание»), и мёртвых («Для берегов

отчизны дальной…», «Заклинание»). Всё, сделанное им в ту осень, носит характер упрямого желания прямо посмотреть в глаза правде.

В те дни Пушкин судил себя страшным судом, не боялся вспоминать ни о чём. На свой творческий пир, вступая в новую жизнь, Пушкин не побоялся позвать все воспоминания, как гробовщик звал на новоселье «своих мертвецов». В те дни написал он «Станционного смотрителя». Тогда же, говорят, начата и «Русалка».

54.

Через шесть с лишним лет после истории, разыгравшейся в Михайловском, в том же 1832 году, которым помечена первая сцена «Русалки», Пушкин писал «Дубровского». Бередя «раны совести», он порой казнил себя тайною казнью, бичевал себя сокровенно. Так, в «Дубровском», описывая «барскую праздность» Троекурова, он взял да и нарисовал картину, невольно напоминающую кое-что из приведённого рассказа Пущина.

«Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи, — рассказывает Пущин. — Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках».

А вот как рассказывает Пушкин о Троекурове: «В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями… Молодые затворницы, в положенные часы, сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух».

По сравнению с тем, что видел в Михайловском Пущин, в описании троекуровского гарема краски весьма сгущены. Но они взяты из одного запаса, с той же палитры. В том-то и заключалась казнь, что Пушкин, невидимо для читателя, с самим собой наедине, сближал себя с Троекуровым — <и> это сближение закреплял на бумаге.

Другое подобное же сближение, и опять в связи с той же историей, находим в восьмой главе «Дубровского», там, где введён совершенно эпизодический рассказ о мамзель Мими, «которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность, и *которую принуждён он был наконец выслать тихонько в другое поместив, когда следствия его дружества оказались слишком явными*».

Если о сходстве «няниной комнаты» с троекуровским гаремом можно, пожалуй, сказать, что оно приблизительно и случайно, то уже никак невозможно предположить, чтобы случайно, не думая и не вспоминая о подлинном событии своей жизни, Пушкин мог

написать подчёркнутую мною фразу, в которой это событие изображено совершенно точно, в полном соответствии с действительностью.

Любопытно, что, маскируя воспоминание о своём романе с крепостной девушкой под видом рассказа о связи Троекурова с гувернанткой, Пушкин прибавляет: «Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была *добрая девушка,* и никогда во зло не употребляла влияния, которое видимо имела над Кирилом Петровичем…» Далее Пушкин явно отступает от действительности и говорит о сыне мамзель Мими, который воспитывался при Троекурове. Однако судьба самой мамзель Мими после отправки в другое поместье остаётся неизвестной. Это сближает её с девушкой из Михайловского. Подчёркнутое Пушкиным незлоупотребление «влиянием» похоже на бескорыстие мельниковой дочери, на её неумение и нежелание «упрочить себе завидного человека». Мне думается поэтому, что в едва набросанном образе мамзель Мими есть нечто от воспоминания Пушкина о его возлюбленной. Хоть и очень мало, а всё же этот образ кое-что прибавляет к тому, слишком немногому, что мы знаем о самой девушке, и не только не противоречит, но отчасти даже буквально повторяет характеристику, данную в письмах к Вяземскому: «Очень милая и *добрая девушка»,* «моя Эда», «Не правда ли, что она очень мила?».

Несомненно, что и отправленная Пушкиным девушка «оставила по себе память довольно приятную». Но более определённого представления о ней составить нельзя, несмотря на то, что все отзывы, и в письмах, и в литературных отголосках, вполне положительны. Общий светлый колорит указан, но очертания не даны.

Не зная никаких подробностей о девушке, трудно представить себе и те формы, в которых протекал роман. Вопрос осложняется ещё и тем, что как бы ни была «добра» и «мила» героиня, — всё же плохо сопоставляется крепостная швея и великий поэт, «самый умный человек в России».

Основываясь на цитированном отрывке из «Евгения Онегина», на легкомысленном тоне писем Пушкина к Вяземскому и на том, что Пушкин первоначально, видимо, придавал мало значения всему происшествию, которое лишь впоследствии приобрело в его глазах трагический смысл, — можно, как я уже говорил, предположить лишь то, что со стороны Пушкина было лёгкое увлечение с несомненной чувственной окраской — типичный роман молодого барина с пригожей крепостной девушкой. Вряд ли также будет ошибкою, если допустим, что роман носил некоторый отпечаток сельской идиллии, отчасти во вкусе XVIII

столетия, и слегка походил на роман Алексея Ивановича Берестова с переодетою Лизой Муромской («Барышня-крестьянка»).

Что было со стороны девушки? Покорность рабы? Или, быть может, преданная любовь? Или — желание извлечь выгоду? Последнее предположение исключается; неискренность, заднюю мысль Пушкин тотчас почувствовал бы: навряд ли простая деревенская девушка сумела бы обмануть его зоркий глаз. Меж тем Пушкин даёт о ней хорошие отзывы. Поэтому вернее будет считать, что характер отношений Князя и Дочери Мельника более или менее близко воспроизводит и характер <отношений> Пушкина с его возлюбленной, имея в виду «счастливую» полосу романа, до момента разлуки: эту полосу можно реконструировать в первой сцене «Русалки».

Судя по тому, что девушка, подобно мамзель Мими, оставила в Пушкине «память довольно приятную», нужно думать, что самый роман протекал вполне счастливо. Никаких неладов, так сказать, внутреннего характера предполагать нельзя. Идиллия не омрачалась ни ревностью, ни охлаждением, ни корыстью. В соответствии с этим никаких намёков на осложнения *внутри* романа нет ни в «Яныше королевиче», ни в «Русалке».

Какие сцены произошли в Михайловском перед отправлением девушки в Москву — мы не знаем. Однако ведь что-нибудь да было же говорено? Как при этом вела себя девушка — решительно неизвестно. В «Русалке» Дочь Мельника сперва не верит в подлинность рокового решения, затем оно приводит её в отчаяние, затем в ней просыпается ненависть к Князю, затем она бросается в воду. Князь покидает девушку именно в момент ошеломления. Пушкин расстался с девушкой, вероятно, в такой же или в схожий момент: девушка согласилась ехать в Москву и даже взяла письмо для передачи Вяземскому. Однако ни одного её слова, ни одного жеста нам Пушкин не сохранил — и поведение Дочери Мельника в сцене прощания нам сравнить не с чем.

Что касается самого Пушкина, то некоторые стороны его поведения, опять-таки под известным углом сюжетного преломления, представляются мне отразившимися и в «Яныше королевиче», и в «Русалке».

Прежде всего, несомненно, что ему в той или иной форме пришлось объявить девушке о неизбежности её отъезда из Михайловского. При этом, понятно, пришлось дать некоторую мотивировку: внешнюю, фактическую, касавшуюся отношений с её отцом, — и внутреннюю, принципиальную, на тему о социальном неравенстве. Однако уже и тогда на душе у него было

нелегко; моральную слабость своей мотивировки Пушкин уже сознавал. В соответствии с этим в «Русалке» Князь, сознавая неправоту свою, очень издалека, осторожно подходит к делу, потом довольно беспомощно говорит на тему о невозможности для князей брать себе жену по сердцу, а затем, одарив девушку, явно старается сократить сцену прощания. Слова Князя перед уходом:

Ух! кончено — душе как будто легче.
Я бури ждал, но дело обошлось
Довольно тихо…

можно бы поставить эпиграфом к переписке Пушкина с Вяземским по этому делу.

И Князь, и королевич на прощанье дарят возлюбленным деньги и драгоценности. И Дочь Мельника, и Елица срывают с себя украшения и бросают их наземь. Михайловской швее, конечно, срывать было нечего. Пушкин был очень беден. Даже денег на расходы, связанные с родами, он дать ей не мог, а поручил это Вяземскому. Но в символике «Яныша королевича» и «Русалки» драгоценности эти занимают определённое место: они выражают желание Князя и королевича, с одной стороны, оказать любовницам как бы прощальную ласку, а с другой — обеспечить их будущность. В обстановке пушкинской действительности то же самое место занимало… письмо к Вяземскому с поручением «позаботиться». Вручённое несчастной девушке, оно в тот же момент должно было составить залог её благосостояния в будущем. Эти заботы, переложенные на Вяземского, заключали в себе очень мало действительной поддержки. Но — сверх этого девушка не могла получить ничего, кроме, быть может, обещаний, вроде тех, о которых туманно говорит Князь:

…я не оставлю
Ни твоего ребёнка, ни тебя.
Со временем, быть может, сам приеду
Вас навестить…

Как бы ни были практически ничтожны заботы Пушкина о девушке; как бы он ни был легкомыслен и даже жесток в момент отправки её в Москву, всё же можно сказать, что то, вероятно, небольшое чувство, которое он к ней питал, к моменту разлуки не исчезло. Подобно Янышу и Князю, Пушкин лишь сознательно подавил его, уступив «условиям света».

55.

Нередко биографы Пушкина спорят о том, к кому относится то или иное из его любовных стихотворений. В числе аргументов столь же нередко выдвигается и такой мотив: пьеса написана в таком-то году, Пушкин тогда был влюблён в такую-то — следственно, к ней и относится стихотворение.

Именно этой аргументацией, когда дело идёт о Пушкине, надо пользоваться с величайшей осторожностью. В любовной психологии Пушкина есть одна черта, делающая такую мотивировку недоказательной.

Необычайная простота его стихов таит столь же необычайную сложность мыслей и чувств. Скромнейшая оболочка порою скрывает здесь соблазнительные и таинственные движения души. Так и любовные переживания Пушкина порою сплетались в сложнейший узел. Проистекало это отчасти из присущей Пушкину способности одновременно любить не одну, а больше. Чаще всего это свойство принимало такую форму: переходя от одной женщины к другой, поддаваясь новому обаянию, Пушкин не вполне освобождался от любви к предыдущей. Новая любовь не убивала, а лишь подавляла или заслоняла прежнюю. Но проходил некий срок — и прежняя, по той или другой причине, пробуждалась опять. Можно бы иллюстрировать это положение рядом примеров, но я ограничусь наиболее простыми.

Ещё в 1820 году написал он две маленьких пьесы: «Дориде» и «Дорида». Они недаром носят столь близкие заглавия. Первая из них, состоящая всего из шести стихов, содержит одну основную мысль:

Нет, милая моя не может лицемерить;
Всё непритворно в ней…

Далее — лишь доказательства этой непритворности: желаний томный жар, стыдливость робкая и т. д. Второе стихотворение — «Дорида». И вот здесь, удостоверившись в непритворности Дориды, в самом себе Пушкин констатирует нечто другое: не обман и ложь — но способность в объятиях одной женщины вспоминать другую:

В её объятиях я негу пил душой;
……
Я таял: но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,

И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

Не лгал и не притворялся и кавказский пленник, о котором Пушкин писал в следующем году. Но пленник отчётливо высказывает черкешенке то самое, что скрыл Пушкин от Дориды:

Тебе в забвеньи предаюсь
И тайный призрак обнимаю…

Пленник с горечью сознаёт ту любовную раздвоенность, которую он заимствовал у Пушкина:

В объятиях подруги страстной
Как тяжко мыслить о другой!..

Оба эти примера касаются любовей незаживших. Пушкин — к Дориде, его *alter ego*[282], пленник, — к черкешенке, оба, видимо, переходят непосредственно от тех «других», которые им «видятся» в объятиях Дориды и черкешенки. Но есть и другие примеры, неоспоримо подтверждающие, что и время порой оказывалось бессильно, что даже и не одна, а несколько Любовей, самых подлинных, на протяжении нескольких лет иногда, не могли вытеснить не только воспоминаний о былой любви, но именно даже самой любви.

После Марии Раевской Пушкин пережил ряд любовей. Не говоря уже об увлечениях вроде А. Давыдовой, Керн, С. Ф. Пушкиной, Олениной, Закревской и т. д., достаточно вспомнить, что здесь были и Ризнич, и Воронцова. И вот, после всего этого, через целых восемь лет, пишет он посвящение к «Полтаве», в котором говорит не о воспоминаниях, а о действительной, в данную минуту существующей любви к той же Раевской.

Вот второй пример: октябрь 1830 года. Пушкин, пламенно влюблённый в Гончарову, пишет «Прощание». К кому бы ни было обращено стихотворение, — оно не обращено к невесте. Как бы ни прощался Пушкин с той, к кому эти стихи писаны, как бы ни констатировал он, что она для него могильным сумраком одета, то есть что между ним и ею всё кончено, — есть же здесь и прямое признание, что если *житейски* всё кончено, то *любовно* всё, в сущности, продолжается — по крайней мере, с его стороны:

В последний раз *твой образ милый*
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

И уж совсем замечательна последняя строфа — в устах жениха Пушкина:

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его.

Ведь это логически и синтаксически значит только одно: житейски мы больше не встретимся, я женюсь, это всё равно, как если бы я уходил в изгнание; но обними меня на прощание, ибо моя любовь продолжается.

56.

Тайком возвратясь в Мадрид, Дон Гуан вовсе не ищет новых любовниц. Он прежде всего возвращается к прежней Лауре и, явившись к ней, переживает эту любовь так, как если бы ни одна женщина перед тем не вытеснила Лауры из его сердца.

Так обстоит с живой женщиной. Но и вспоминая умершую, Дон Гуан загорается, точно бы она и не умирала. В его словах об умершей Инезе есть неуловимый, но явственно ощутимый привкус чувственности:

В июле… ночью. Странную приятность
Я находил в её печальном взоре
И помертвелых губах…

Произнося это, Дон Гуан испытывает ту же «странную приятность». Мертвенные губы манят его, как и помертвелые. Его любовь не умирает сама и не считается со смертью другого.

Он в этом не одинок; жених Пушкин тою же осенью 1830 года, когда кончал «Каменного гостя», писал (или тоже кончал) «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной…». В обеих пьесах

— не только признание в том, что любовь есть, продолжается в данную минуту, — но и призывание мёртвых возлюбленных. В обеих пьесах есть вполне чувственные воспоминания; в «Для берегов…» они окрашены более идиллически, в «Заклинании» возлюбленная вспоминается:

Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.

Перечтите обе пьесы и вы распознаете в них соблазнительное ощущение мёртвой как живой, ощущение горькое и сладострастное. Это — одно из не самых светлых и безобидных пушкинских чувств, но оно подлинно пушкинское, — грозящее гибелью и сулящее «неизъяснимы наслаждения».

Однако «Заклинание» и «Для берегов…» — не первые звенья в цепи стихов, в которых отразились чувственные воспоминания Пушкина об умерших женщинах. Таким первым звеном является набросок «Как счастлив я…». Содержание наброска — воспоминание о русалке и мечта снова изведать «пронзительное» и «прохладное лобзание» её «влажных, синих» и бездыханных уст, услыхать её речь, увидать глаза. Конечно, Пушкин — Протей; конечно, Пушкину дан был его прославленный универсализм, его способность угадывать душу людей самых различных эпох, стран, состояний; но всё же духовные облики пушкинских героев созданы не только «художественным чутьём» да «гениальной интуицией», — а в значительной мере и личным опытом. Едва ли не во всех пушкинских героях заложено многое от самого Пушкина. Так и в данном случае. Устами героя Пушкин здесь говорит о том же, о чём впоследствии в «Заклинании» говорил от своего имени.

Этот мотив чувственного влечения к умершей — не исчез и при вторичной обработке сюжета. Напротив, в «Яныше королевиче» он высказан открыто:

Рано утром, чуть заря зарделась,
Королевич над рекою ходит;
Вдруг из речки, *по белые груди,*
Поднялась царица водяная
И сказала: «Яныш королевич,
У меня свидания просил ты:
Говори, чего ещё ты хочешь?»
Как увидел он свою Елицу,
Разгорелись снова в нём желанья,
Стал манить её к себе на берег.

«Люба ты моя, млада Елица,
Выдь ко мне на зелёный берег,
Поцелуй меня по прежнему сладко,
По прежнему полюблю тебя крепко»[283].

Однако просьбы королевича остаются тщетны:

Королевичу Елица не внимает,
Не внимает, головою кивает:
«Нет, не выду, Яныш королевич,
Я к тебе на зелёный берег.
Слаще прежнего нам не целоваться,
Крепче прежнего меня не полюбишь.
Расскажи-ка мне лучше хорошенько,
Каково, счастливо ль поживаешь
С новой любой, молодой женою?»
Отвечает Яныш королевич:
«Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит».

На этом песня о Яныше обрывается. Мы не можем в точности указать, как развернулись бы в ней дальнейшие события, если бы Пушкин её продолжил. Но несомненно, что эти события должны были явиться развитием той экспозиции, которая дана в сцене свидания королевича с русалкой, — то есть дальнейшим содержанием песни явилась бы, в той или иной форме, возобновившаяся любовь королевича к «прежней любе», — то есть опять-таки любовь к мёртвой, к призраку, а наличность живой жены соответственным образом эту коллизию осложнила бы.

В «Русалке» по сравнению с «Янышем королевичем» сюжет расцвечен введением новых лиц, как то: Мельника, Княгини, Мамки и т. д. Наряду с этим введены сцены, показывающие события, которые в «Яныше» отчасти совершаются, так сказать, за кулисами: такова свадьба Князя. Основные же схемы событий вполне совпадают, с тою лишь разницей, что Яныш королевич как будто случайно встречает русалочку водяницу, а в «Русалке» сама героиня её высылает навстречу Князю. Но это различие целиком относится к *мотивировке* встречи и не отклоняет линии сюжета.

Сравнивая ход событий в «Русалке» и «Яныше», убеждаемся, что он по существу одинаков и там, и здесь. «Русалка» отличается от «Яныша» только более детальной разработкой, как чисто психологической, так и сюжетной. Однако если в «Русалке» сюжет, по сравнению с «Янышем», оказывается более

разработанным в ширь и глубь, то в длину он оказывается короче. Драма механически обрывается на первом моменте встречи с русалочкой. Каково должно было быть дальнейшее течение событий? То обстоятельство, что до встречи с русалочкой сюжет драмы по существу вполне параллелен сюжету песни, даёт основание с большой вероятностью предположить, что и в дальнейшем этот параллелизм должен был сохраниться. Подобно «Янышу королевичу», «Русалка» должна была стать *трагедией возобновившейся любви к мёртвой,* что подтверждается и наброском «Как счастлив я…», и психологической близостью этой темы Пушкину.

57.

Любовь бывает «счастливая» и «несчастная»: со взаимностью или без неё. И хуже того: любовь с ненавистью в ответ. Если дело идёт о мёртвой, момент разлуки решает всё.

И в «Заклинании», и в «Для берегов отчизны дальной…» Пушкин уверенно ждёт от «возлюбленной тени» ответной любви. В «Русалке» таким ожиданиям нет места. Пушкин знает, что он виноват перед умершей, и думает, что, умирая, она его не простила, что расставалась ошеломлённая и покорная, а умирала в злобе и ненависти к нему. Дочь Мельника по уходе Князя со злобной иронией повторяет его оправдания:

> [Видишь ли], князья не вольны,
> Как девицы, не по сердцу они
> Берут жену себе… а вольно им,
> Небось, подманивать, божиться, плакать
> И говорить: тебя я повезу
> В мой светлый терем, в тайную светлицу
> И наряжу в парчу и бархат алый.
> Им вольно бедных девушек учить
> С полуночи на свист их подыматься,
> И до зари за мельницей сидеть.
> Им любо сердце княжеское тешить
> Бедами нашими, а там прощай,
> Ступай, голубушка, куда захочешь,
> Люби, кого замыслишь.

И далее:

> И мог он

Как добрый человек со мной прощаться,
И мне давать подарки — каково! —
И деньги! выкупить себя он думал,
Он мне хотел язык засеребрить,
Что<б> не прошла о нём худая слава…

В «Яныше королевиче» эта ненависть ещё только едва намечена. В стихах, изображающих момент утопления, — нет её вовсе или она лишь слабо выражена:

Как одна осталася Елица,
Деньги наземь она пометала,
Из ушей выдернула серьги,
Ожерелье *на-двое* разорвала,
А сама кинулась в Мораву.

В момент свидания с королевичем злоба Елицы выражается лишь в язвительном оттенке её ответа на просьбу о любви:

«…Слаще прежнего нам не целоваться,
Крепче прежнего меня не полюбишь.
Расскажи-ка мне лучше хорошенько,
Каково, счастливо ль поживаешь
С новой любой, молодой женою?»

В «Русалке» этот мотив значительно углублён. Тогда как в «Яныше» королевич как будто случайно встречает маленькую водяницу, — в драме встреча Князя с Русалочкой сознательно подготовляется её матерью:

Русалка

…Послушай, дочка. Нынче на тебя
Надеюсь я. На берег наш сегодня
Придёт мужчина. Стереги его
И выдь ему навстречу. Он нам близок,
Он твой отец.

Дочь

Тот самый, что тебя
Покинул и на женщине женился?

Русалка

Он сам; к нему нежнее приласкайся
И расскажи всё то, что от меня
Ты знаешь про своё рожденье; также
И про меня. И если спросит он,
Забыла ль я его иль нет, скажи,
Что всё его я помню и люблю
И жду к себе. Ты поняла меня?

Дочь

О, поняла.

Русалка

Ступай же.
(Одна.)
С той поры,
Как бросилась без памяти я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра-реки очнулась
Русалкою холодной и могучей,
Прошло семь долгих лет — я каждый день
О мщеньи помышляю…
И ныне, кажется, мой час настал.

У Русалки, таким образом, есть готовый план мести. Каков он в точности, мы не знаем, так как пьеса обрывается на первом моменте встречи Князя с Русалочкой. Но несомненно, что дальнейшее течение драмы должно было содержать осуществление этого плана. В отличие от русалки Елицы, прямо отвергающей любовь королевича, эта вторая Русалка намеревается быть коварной. Ещё не зная, возгорится ли снова любовь к ней в сердце Князя, она готовится возбудить эту любовь

своею притворной любовью.

Таким образом, наше предположение о возобновляющейся любви Князя как о предмете дальнейшей драмы дополняется: эта любовь должна была стать орудием мести в руках Русалки. Как именно развернулся бы далее сюжет «Русалки» и чем бы закончился, — сказать нельзя. Ясно одно: эта любовь к мстящему призраку, к «холодной и могучей» Русалке должна была привести Князя к гибели. «Русалка» должна была стать одной из самых мрачных страниц в творчестве Пушкина. В этой драме замышлял он представить мщение прошлого. Недаром ещё в 1828 году писал он в «Воспоминании»:

И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые —
Но оба с крыльями, и с пламенным мечом —
И стерегут — и мстят мне оба —
И оба говорят мне мёртвым языком
О тайнах счастия и гроба.

Один из этих двух призраков должен был явиться в «Русалке».

58.

Маскируя свою личную драму притворным подражанием опере Краснопольского, главные очертания которой столь роковым образом оказались удобными для такой маскировки, Пушкин не без лукавства заимствовал из «Днепровской русалки» также и ряд подробностей. Среди книг Пушкина сохранился экземпляр «Днепровской русалки», взятый, по-видимому, взаймы из личной библиотеки А. Ф. Смирдина: на экземпляре I-й части имеется смирдинский *ex libris*[284]. По-видимому, Пушкин пользовался этой книгой как справочником и пособием для маскировки. Он сознательно, для отвода глаз, заимствовал детали у Краснопольского и держал книгу у себя, пока «Русалка» не кончена. После смерти Пушкина смирдинская книга так и осталась в его библиотеке, не будучи возвращена владельцу.

О частностях, заимствованных у Краснопольского, писалось не раз, и я не буду на них останавливаться. Для нас интереснее некоторые другие частности драмы, тоже представляющие собой маскировку — только иного рода.

Воспоминание — не только один из самых излюбленных

мотивов пушкинской поэзии, но и один из её импульсов. Однако превращая воспоминание в художественное произведение, Пушкин, под давлением сюжета и стиля, часто бывал принуждён изменять очертания подлинного факта. Иногда это делалось и для того, чтобы скрыть автобиографическую природу произведения. Объективируя таким образом факты и делая их общим достоянием, Пушкин как бы терял нечто из драгоценного запаса воспоминаний, но тут же, ради возмещения лирического убытка, а также из своеобразного лукавства, старался зафиксировать какую-нибудь вполне конкретную частность и тем самым зашифрованно, «для себя», восстановить интимную связь «поэтического вымысла» со своей собственною действительностью.

Я уже указывал на связь наброска «Как счастлив я…» с Михайловским. Эта связь, также зашифрованно, сохранена и в «Русалке». Тайная сила раскаяния влечёт Князя в те места, где разыгрывался его роман с Дочерью Мельника. И вот, можно заметить, что места эти связаны с думами Пушкина о Михайловском, где разыгрался его роман с крепостною девушкою. Князь говорит:

> Невольно к этим грустным берегам
> Меня влечёт неведомая сила…
>
> Знакомые, печальные места!
> Я узнаю окрестные предметы —
> Вот мельница! Она уж развалилась;
> Весёлый шум её колёс умолкнул;
> Стал жернов…

Только подчиняясь сюжету и как будто заимствуя мельницу у Краснопольского, Пушкин говорит о водяной мельнице. По существу же, по лирическому ощущению поэта, мельница здесь — одна из тех «крылатых» мельниц, о которых говорится в «Деревне» при описании Михайловского. Это та самая мельница, которая, дополняя *михайловский* пейзаж и *михайловские* воспоминания Пушкина, является и в «Графе Нулине», и в «Евгении Онегине», и в стихотворении «…Вновь я посетил». Примечательно, что михайловские отголоски в «Русалке» очень связаны именно с этой пьесой, писанной в 1835 году и посвящённой горьким воспоминаниям о Михайловском. Мельница здесь является тоже развалившейся — и связанной с мельницами «Деревни». В «Деревне»:

Здесь вижу двух *озёр* лазурные равнины,
Где парус *рыбаря* белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали *рассыпанные хаты,*
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и *мельницы* крилаты…

Во «…Вновь я посетил» читаем об *озере*:

Оно синея стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывёт *рыбак* и тянет за собой
Убогой невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась *мельница,* насилу крылья
Ворочая при ветре…

Некогда благополучные мельницы «Деревни» представлены здесь одною — развалившеюся, как в «Русалке»[285].

Далее, в «Русалке», Князь говорит:

Тут *садик был с забором* — неужели
Разросся он кудрявой этой *рощей*?

В стихотворении «Домовому», при описании Михайловского:

Люби мой *малый сад* и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным *забором*!

Во «…Вновь я посетил» дано сводное воспоминание — там, где говорится о соснах:

Но около корней их устарелых
……
Теперь младая *роща разрослась*…

Вообще же необходимо отметить, что всё стихотворение «…Вновь я посетил» своим тоном, ритмом, стилистическими приёмами (например: «Вот опальный домик…», «Вот холм лесистый…» и т. д.) чрезвычайно напоминает оба монолога Князя

из «Русалки». Слова Князя «Всё здесь напоминает мне былое» можно бы взять эпиграфом ко «…Вновь я посетил». Вся же сеть этих автореминисценций («Деревня», «Домовому», «Как счастлив я…», «…Вновь я посетил», монологи Князя) подтверждает связь «Русалки» с воспоминаниями о Михайловском.

59.

Кроме этих «местных» намёков, в «Русалке», кажется, есть и «временной».

Хронология создания «Русалки» очень темна. Единственная дата — 27 апреля 1832 года — находится в беловой рукописи, под первой сценой. Так как работа над «Русалкой» началась значительно раньше, то дата, вернее всего, относится к тому моменту, когда, окончательно перерабатывая черновики, Пушкин перебелял их. Самые черновики не сохранились, и нет никаких оснований считать, что вторая и последующие сцены *начаты* после 27 апреля 1832 года. Напротив, надо думать, что вчерне многое было набросано *до* этого времени. Возможно, что и третья сцена в набросках существовала ранее. Затем произошло следующее. По мере обработки дальнейших сцен Пушкин переписывал их в ту же тетрадь, где была записана первая. Когда именно были переписаны вторая и третья сцены, неизвестно. Известно лишь то, что впоследствии Пушкин вычеркнул из белового текста третьей сцены два отрывка из разговора Княгини с Мамкою. Произошло это, по-видимому, тогда, когда и четвёртая, и пятая сцены тоже уже были переписаны в ту же тетрадь. Я предполагаю, что это было в 1834 году. Вычеркнутыми оказались, между прочим, такие строки:

Княгиня

Я слыхала,
Что будто бы до свадьбы он любил
Какую-то красавицу, простую
Дочь мельника.

Мамка

Да, так и я слыхала.

Тому давно, годов уж пять иль больше…

Между тем этот разговор определял для читателя хронологию событий внутри пьесы, то есть указывал, что между второй и третьей сценами проходит около пяти лет. Теперь, вычеркнув всё это место, Пушкин заметил, что этот важный временной перерыв остаётся ничем не обозначенным. Нужно было дать определение того же срока в другом месте. Пушкин и решил это сделать в конце пятой сцены, в разговоре Русалки с дочерью. По ходу пьесы разговор происходит *одновременно* с разговором между Княгиней и Мамкой. Однако пятая сцена была уже переписана, и Пушкин на поле беловой рукописи наметил то место, где должна быть сделана вставка. Место это он наметил после стиха:

Русалкою холодной и могучей…

Но примечательно, что делая свою помету, Пушкин изменил срок, указанный в 3-й сцене. Он не написал: «Прошло пять лет», а написал: «Прошло 8 лет…» Потом цифру 8 он переделал на 7 и прибавил слово «долгих».

Эту пушкинскую помету я себе объясняю так: Пушкин, необычайно правдивый с самим собой и любивший вшифровывать правду в вымысел, — и здесь, как в «Дубровском», казнил себя тем, что фиксировал точный срок михайловской истории; мне кажется, что третью сцену вчерне писал он ещё в 1831-м или в начале 1832 года. *Тогда* со времени подлинного события прошло «годов уж пять иль больше». Вычеркнул эти слова он в 1834 году, но не захотел механически повторить срок, а пожелал зафиксировать новый, ныне воздавшийся. Поэтому он написал: «Прошло 8 лет…» Но дело было в начале 1834 года, и потому неполные 8 лет заменил поправкою: «7 долгих лет»[286].

Так он вписывал «правду» в «поэзию».

60

Поручая Вяземскому судьбу девушки и кратко обрисовав её положение, Пушкин прибавляет: «Ты видишь, что тут есть о чём написать целое послание во вкусе Жуковского *о попе*; но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах».

Как видим, он всё же не удержался и стал писать, с той разницей, что совесть заставила его вместо послания к приятелю

приняться за мрачную трагедию. Правда, и в этой трагедии он старательно прятал и маскировал истину — быть может, не столько от «потомства», сколько от современников.

Эти страницы писаны не для того, чтобы «возмутить укором тень великого человека». С другой стороны, Пушкин не нуждается ни в наших маленьких оправданиях, ни в замалчиваньях, ни в прикрасах. Что же до его вины, то её искупил он сам, огненной мукой совести.

Прибавлю ещё, что переписка с Вяземским, положенная в основу моей заметки о творческих приёмах Пушкина, опубликована давно. Факт известен. Так уж лучше, пожалуй, знать, как впоследствии терзался и казнил себя Пушкин, нежели думать, что вся эта история была ему нипочём.

Берлин — Мариенбад.

1923

ИЛЛЮСТРАЦИИ

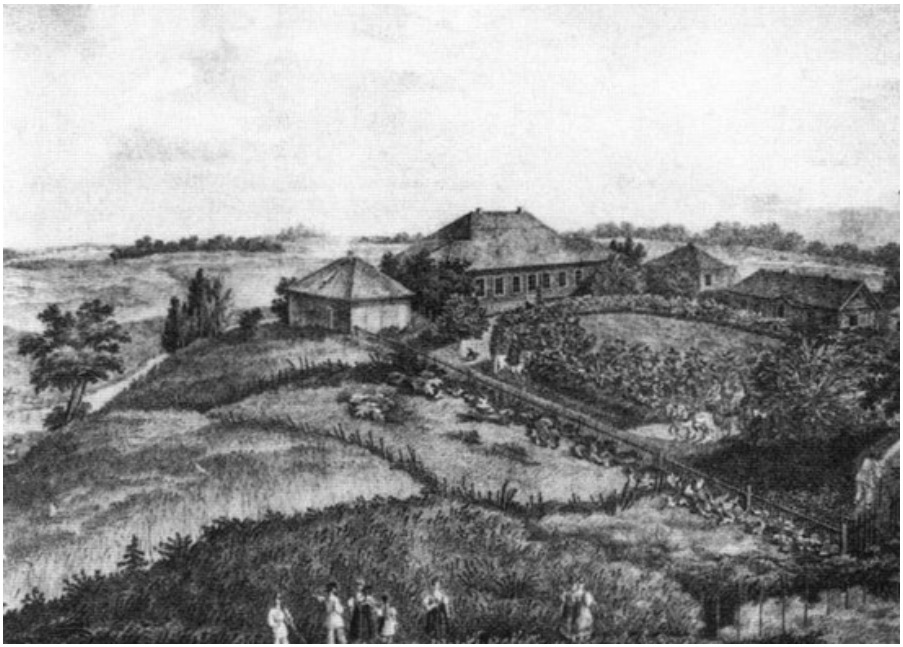
Пушкин. И.-Е. Вивьен. 1826

Петровское. Усадьба. Современная фотография

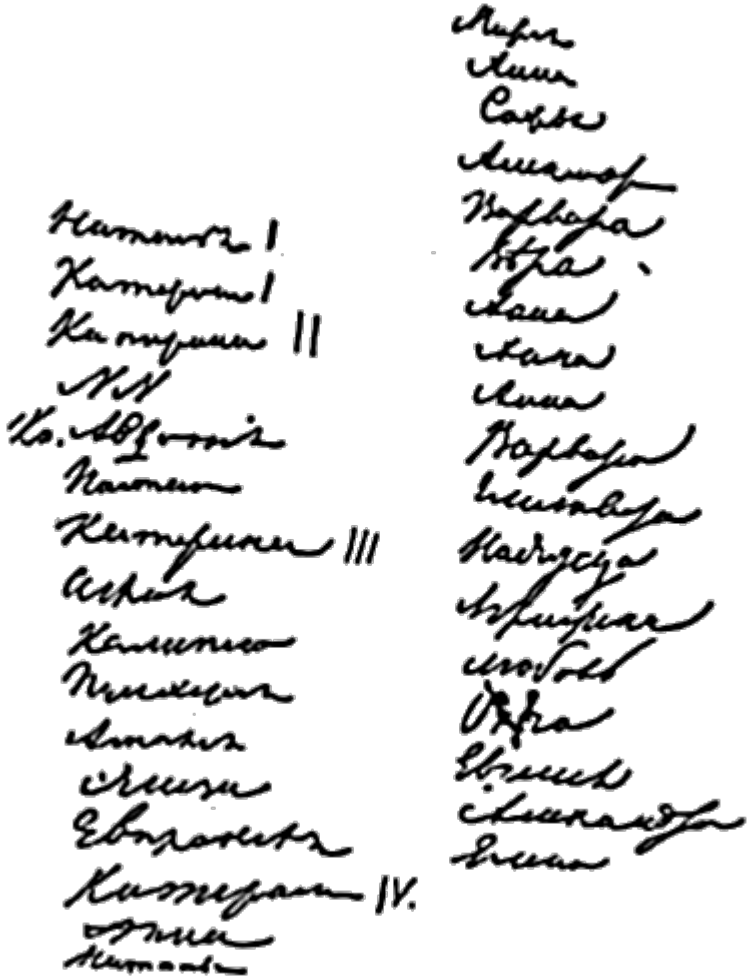
Русская деревня. Д. Аткинсон. 1804

Надежда Осиповна Пушкина. К. де Местр. 1800-е гг.

Сергей Львович Пушкин. К. Гампельн. 1824



Сельцо Михайловское. Вид на усадьбу. П. А. Александров, с оригинала И. С. Иванова. 1837



«Дон-Жуанский список» А. С. Пушкина. Два перечня женских имён, сделанных поэтом в альбоме Елизаветы Ушаковой. В правом столбце четвёртое снизу имя — Ольга. Конец сентября — начало ноября 1829 г.

Окрестности Михайловского. Фотография. 1906

А. С. Пушкин. Автопортрет. Май-июнь 1825 г.

Осенние дожди. Пушкин. В. Е. Попков. 1974

Арина Родионовна. Горельеф Я. П. Серякова. 1840-е гг.

Пушкин в Михайловском. Ю. М. Непринцев. 1938

«Русалка». Князь и Дочь Мельника. П. Куренков, с оригинала В. М. Васнецова. 1877

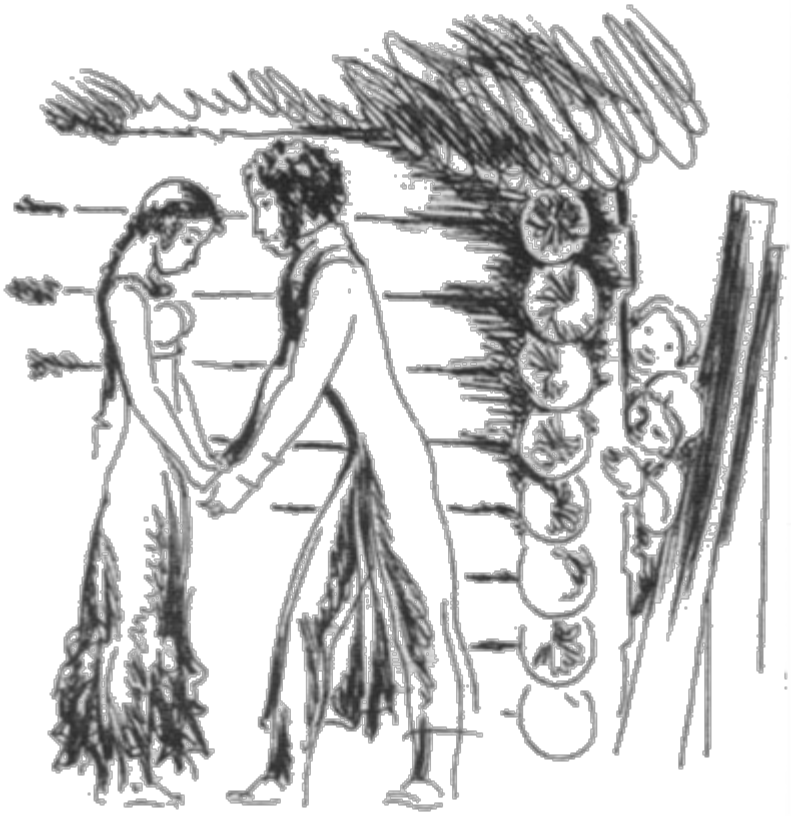
Прасковья Александровна Осипова. Литография. 1829

Алексей Николаевич Вульф. А. И. Григорьев. 1828

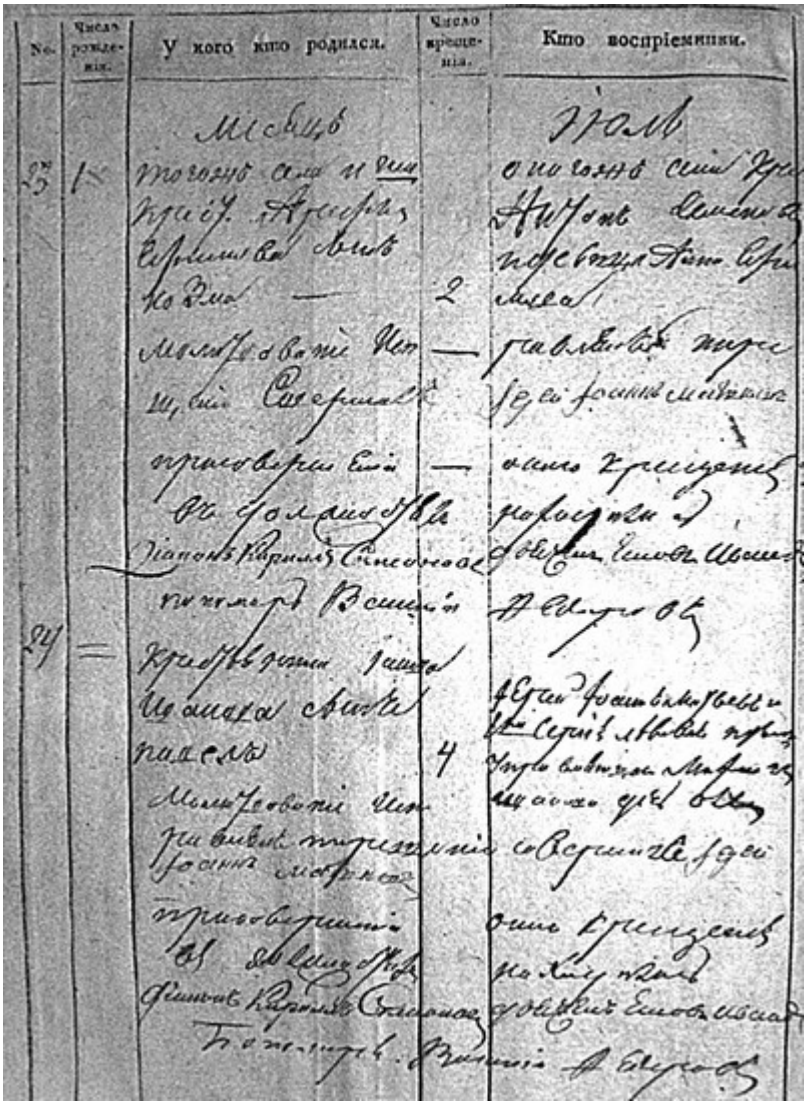
Пушкин и Ольга Калашникова. Э. Насибулин

Иван Иванович Пущин. Ф. Верне. 1817

Князь Пётр Андреевич Вяземский. П. Ф. Соколов. 1821



Пушкин и Ольга Калашникова. Э. Насибулин



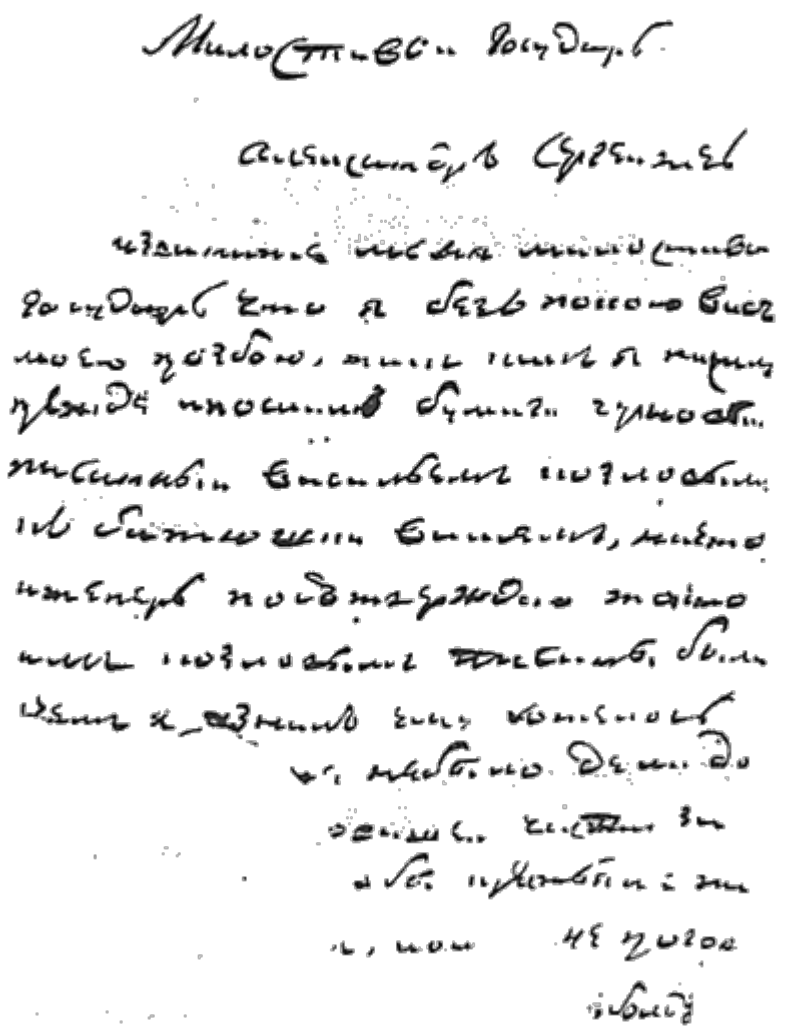
Запись в метрической книге болдинской церкви Успения Пресвятой Богородицы о рождении и крещении младенца Павла, сына А. С. Пушкина и О. М. Калашниковой. ГАНО, ф. 570, оп. 5596, год 1826, д. 886, л. 232 об.

Запись в метрической книге болдинской церкви Успения Пресвятой Богородицы о смерти младенца Павла, сына А. С. Пушкина и О. М. Калашниковой. ГАНО, ф. 570, оп. 5596, год 1826, д. 886, л. 251

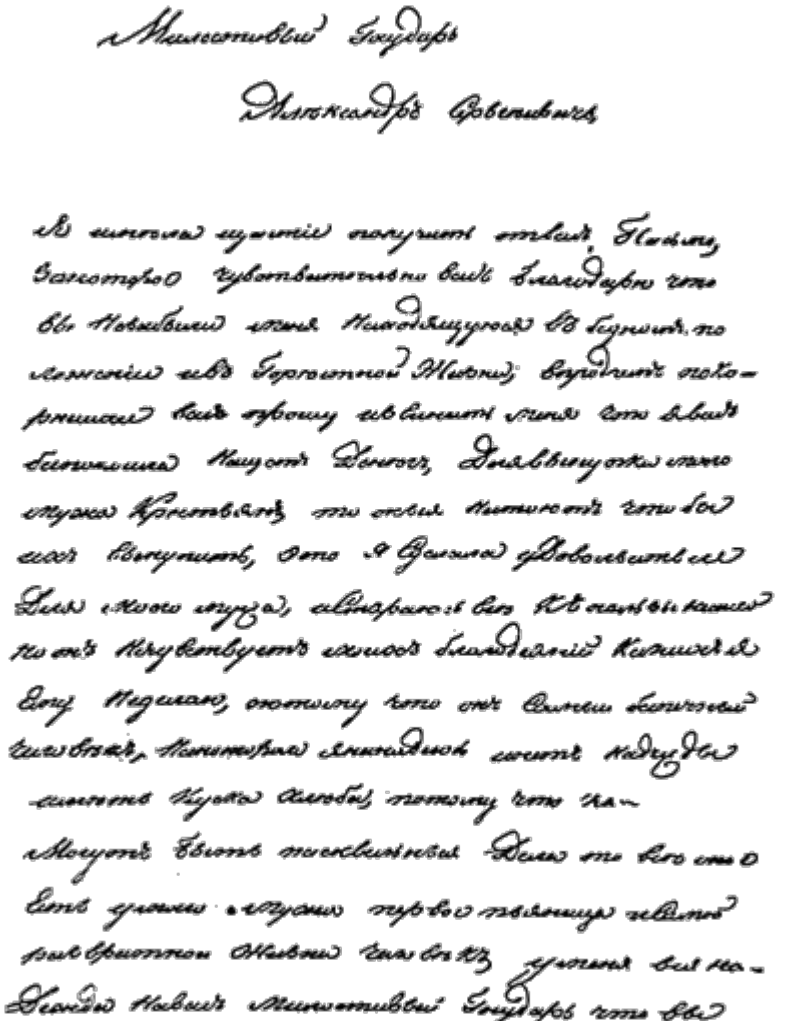
Ольга Сергеевна Павлищева (урождённая Пушкина).
Е. А. Плюшар. 1830-е гг.

Николай Иванович Павлищев. А. Покровский. 1843

Болдино. Усадьба. Современная фотография



Письмо М. И. Калашникова А. С. Пушкину (повреждено грызунами). 20-е числа декабря 1833 г.



Письмо О. М. Ключарёвой А. С. Пушкину, написанное Гаврилой Калашниковым. 21 февраля 1833 г.

«Сказка о рыбаке и рыбке». Иллюстрация В. Адта, с оригинала М. В. Нестерова. 1888

«Домик в Коломне». Параша (фрагмент). Иллюстрация В. А. Фаворского. 1922–1925 гг.

«Станционный смотритель». Иллюстрация М. В. Добужинского. 1905

Могила Пушкина в Святогорском монастыре. Современный вид

Лукоянов. Дом О. М. Ключарёвой. Современная фотография

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ О. М. КЛЮЧАРЁВОЙ (КАЛАШНИКОВОЙ) [287]

***1805**, не ранее апреля… 1806, не позднее марта. Петровское (?).* Появление на свет Ольги, дочери крепостных Михайлы и Вассы (Василисы) Калашниковых.

***1814**.* Первое упоминание Ольги Калашниковой (далее О. К.) в исповедных росписях церкви Воскресения Христова в сельце Михайловском.

***1817**, 11 (?) июля — 19… 22(?) августа.* Пребывание в сельце Александра Пушкина (далее А. П.), завершившего обучение в Царскосельском лицее.

***1819**, 12… 13 июля — 11 (?)… 12 (?) августа.* Второй визит А. П. в Михайловское.

Начало 1820-х гг. — 1826, апрель, 25… май, начало. Михайловское. О. К., дочь управляющего, служит «сенной» (горничной) и входит в «молодую команду» работниц, которой руководит няня Арина Родионовна.

***1824**, 9 августа.* Приезд в Михайловское А. П., который «за дурное поведение» был выключен из службы и удалён из Одессы «в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства».

Конец ноября… декабрь. Начало «крепостного романа» А. П. и О. К.

***1825**, 11 января. Михайловское.* Навестивший ссыльного друга И. И. Пущин обращает внимание на О. К.

***1826**, апрель, 25… май, начало.* Михайла Калашников, назначенный ранее управляющим в нижегородское имение Пушкиных Болдино, увозит О. К. и прочих домочадцев из сельца в Петербург. Завершение «крепостного романа».

10–11 мая. Семейство Калашниковых находится в Москве, откуда направляется в село Болдино.

Середина мая. Прибытие Калашниковых в имение.

1 июля. Болдино. Рождение у О. К. ребёнка — Павла, сына А. П. Возможно, роды были преждевременные.

15 сентября. Смерть младенца Павла.

***1830**, 3… 4 сентября.* Приезд А. П. в Болдино.

Сентябрь — конец ноября. Тесное общение О. К. с барином, который задержался в имении из-за эпидемии холеры. Возможно, поэт возобновил былые отношения с «белянкой черноокой». Эти встречи нашли художественное отражение в пушкинских произведениях. *4 октября.* А. П. составляет «отпускную» О. К.

29 (?) ноября. Отъезд поэта из Болдина в Москву. Он берёт с собой «отпускную», которую должна «засвидетельствовать» Н. О. Пушкина, владелица семейства Калашниковых.

***1831**, 17 мая.* Неграмотная О. К. диктует местному грамотею письмо к А. П. Она просит барина поторопиться с присылкой «отпускной», а также оказать ей иные «милости»: взять к себе от Н. О. Пушкиной брата Василия или даже «всю семью» Калашниковых.

25 мая. В Лукояновскую почтовую контору доставлен из Москвы, от А. П., пакет с документами, которые необходимы для юридического завершения дела с «отпускной» О. К.

2 июня. По решению Лукояновского уездного суда О. К. становится вольноотпущенной.

18 октября. Болдино. Венчание О. К. с чиновником земского суда титулярным советником Павлом Степановичем Ключарёвым. О. К. становится дворянкой, титулярной советницей. После свадьбы супруги отправляются на жительство в уездный город Лукоянов, к мужу, однако вскоре возвращаются в Болдино.

***1833**,11 января. Болдино.* П. С. Ключарёв от имени О. К. пишет А. П. «кудрявое» письмо, в котором жалуется на безденежье семьи и умоляет одолжить две тысячи рублей.

Конец января… февраль, до 21-го. В Болдино приходит ответ А. П., отказавшего Ключарёвым.

21 февраля. О. К., при содействии брата Гаврилы, пишет новое послание к А. П. Она сообщает былому любовнику о своей беременности, просит его быть заочным восприемником ребёнка, жалуется на мужа («самой развратной жизни человека») и умоляет защитить её отца, Михайлу Калашникова, которого невзлюбил С. Л. Пушкин.

1 апреля. Рождение у титулярной советницы О. К. сына Михаила. Одним из восприемников младенца в метрической книге болдинской церкви Успения Пресвятой Богородицы записан А. П.

Лето (?). Смерть младенца Михаила Ключарёва.

1 октября. Прибытие поэта в Болдино.

Октябрь, двадцатые числа. Приезд в село белорусского дворянина И. М. Пеньковского, которого С. Л. Пушкин назначил новым управителем имения. А. П. переводит Михаилу Калашникова на «второе положение» и делает отца О. К. временным управляющим в принадлежащей ему, поэту, части деревни Кистенёво.

9 ноября. Отъезд А. П. из Болдина.

***1834**, январь.* О. К. приобретает «крестьянскую жёнку вдову Стефаниду Мартынову с дочерью ея Анною Даниловою и с сыном

незаконноприжитым Алексеем Козьминым», а также пятистенный домик в уездном городе Лукоянове.

11 марта. Кончина матери О. К., Вассы (Василисы) Калашниковой.

Конец апреля… начало мая. Рождение у О. К. сына Николая.

3 августа. Смерть младенца Николая Ключарёва.

13 сентября. Приезд А. П. в Болдино. В сентябре О. К. встречалась с поэтом; это были их последние свидания. *Конец сентября.* А. П. ликвидирует двоевластие в Болдине: он снимает Михаилу Калашникова с должности управляющего частью деревни Кистенёво и назначает И. М. Пеньковского полновластным управляющим всем имением.

1 октября (?). А. П. покидает Болдино.

***1835–1840**, весна (?). О.* К. живёт в Болдине и Лукоянове; расстаётся с мужем и, терпя нужду, продаёт крепостных людей и дом в уездном городе; потом окончательно поселяется в селе.

***1836**, 22 декабря. Болдино.* Михайла Калашников пишет к А. П. в Петербург. В создании этого обширного послания, возможно, принимала участие и О. К. Это было последнее из писем Калашниковых поэту: 29 января 1837 года А. П. скончался от раны, полученной на дуэли.

***1840**, после 14 апреля.* Вместе с отцом и братом Гаврилой О. К. отправляется (?) из Болдина в Петербург, где её следы теряются.

Дата и *место кончины* О. К. неизвестны.

БИБЛИОГРАФИЯ

Пушкин. Полное собрание сочинений: В 17 т. (т. 17 — справочный). М.; Л.: АН СССР, 1937–1959 (по указ.).

Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подг. к печ. и коммент. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зенгер. М.; Л.: Academia, 1935 (по указ.).

Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 1: Пушкин / Публ. и коммент. М. Беляева, Д. Благого, Т. Волковой, Т. Зенгер, Н. Измайлова, Л. Модзалевского, П. Попова, Б. Томашевского, М. Цявловского, А. Эфроса. М.: Журн. — газ. объединение, 1936 (по указ.).

Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 5: Архив Опеки Пушкина / Ред. и коммент. П. С. Попова. М.: Гослитмузей, 1939 (по указ.).

Фамильные бумаги Пушкиных — Ганнибалов. Т. 1: Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828–1835 / Пер., подг. текста, предисл. и коммент. Л. Л. Слонимской. СПб.: Пушкинский фонд, 1993 (по указ.).

Фамильные бумаги Пушкиных — Ганнибалов. Т. 2: Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к мужу и к отцу. 1831–1837 / Науч. ред. А. М. Гордин. СПб.: Пушкинский фонд, 1994 (по указ.).

Александр Сергеевич Пушкин: Документы к биографии. 1799–1829/Сост. В. П. Старк. СПб.: Искусство — СПб., 2007 (по указ.).

Александр Сергеевич Пушкин: Документы к биографии. 1830–1837 / Отв. ред. С. В. Берёзкина. СПб.: Пушкинский Дом, 2010 (по указ.).

Абрамович С. Л. Пушкин в 1833 году: Хроника. М.: Слово / Slovo, 1994 (по указ.).

Аринштейн Л. М. Пушкин: Непричёсанная биография. М.: Муравей, 1998. С. 69, 83–87.

Борисова Н. А. «Крепостная любовь» поэта // Пушкин на пороге XXI века: Провинциальный контекст. Вып. 2. Арзамас: Гос. лит. — мемориальный и природный музей-заповедник «Болдино»; Арзамасский гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара, 2000. С. 29–34.

Вересаев В. В. Крепостной роман Пушкина // *Вересаев В. В.* Загадочный Пушкин. М.: Республика, 1996. С. 299–316.

Воробьёва И. Новое о «крепостной любви» Пушкина // Вопросы литературы. 1972. № 8. С. 250–252.

Куприянова Н. И. К сему: Александр Пушкин. Горький: Волго-

Вятское кн. изд-во, 1988. С. 125–141, 146–153, 291–293.

Новиков Н. С. «Крепостная любовь» Пушкина (Из новых архивных находок) // Русская провинция. 2000. № 1. С. 101–104.

Орлов С. А. Болдинская осень. Горький: Горьковское кн. изд-во, 1962. С. 64–65.

Пушкинская энциклопедия «Михайловское»: В 3 т. Т. 1. Михайловское; М., 2003. С. 18, 38–41, 59 (статьи: «Белянка», «Дворовые сельца Михайловского», «Калашникова Ольга Михайловна»).

Ходасевич В. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л.: Мысль, 1924. С. 113–156.

Ходасевич В. «Русалка»: Предположения и факты // Современные записки. Париж, 1924. № 20. С. 302–354.

Ходасевич В. В спорах о Пушкине // Современные записки. Париж, 1928. № 37. С. 275–294.

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л.: Наука, 1989. С. 178–179.

Щёголев П. Е. Пушкин и мужики: По неизданным материалам. М.: Федерация, 1928.

notes

Примечания

1

Здесь и далее ссылки на пушкинские произведения и письма (а также на эпистолярные послания к Пушкину) даются в тексте, курсивом, по так называемому Большому академическому собранию сочинений поэта в 17 томах (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959; т. 17 — справочный), причём римской цифрой обозначается номер тома, а арабской — страницы. Зачёркнутые слова и фразы Пушкина и его корреспондентов помещаются в квадратные скобки, а дописанные или добавленные по смыслу — в угловые.

2

РА. 1912. № 10. С. 300–301.

Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 629–630.

4

Щёголев. С. 160. К привилегированным персонам из дворни пушкинист отнёс также Арину Родионовну и Никиту Козлова.

5

Вересаев В. В. Спутники Пушкина. Т. 1. М., 1993. С. 50–52.

Щёголев. С. 154.

7

Дудин М. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2. Л., 1977. С. 17. Стихи «Моя песня об Ольге Калашниковой» написаны в 1961 году и посвящены директору Пушкинского заповедника С. С. Гейченко. Подвижник из Пушкиногорья, в свою очередь, связывал с Ольгой Калашниковой стихотворение «Младенцу» (1824).

Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. СПб., 2000. С. 178.

Впрочем, значения отмеченного сходства не до́лжно преувеличивать: «пасторальный роман» дворянина, помещика с селянкой в ту эпоху был типическим явлением, которое заодно стало «бродячим сюжетом» литературы, русской и европейской.

Аринштейн. С. 83.

11

Ходасевич. С. 156.

12

В общем, вообще *(лат.)*.

13

Имена простолюдинов, встречающиеся в настоящем очерке, приведены в соответствие с нормами описываемой эпохи. Во всех цитатах сохранена орфография подлинников.

14

Данная «ревижская сказка», составленная в марте 1816 года, гласит, что Михайле Иванову исполнился «41 год» (*Щёголев.* С. 264; Документы-1. С. 262).

15

Например, в исповедной росписи за 1825 год церкви Воскресения Христова погоста Воронин Опоченкого уезда перечень «дворовых людей помещицы Надежды Осиповой, жены Пушкиной» начинается так: «Михаил Иванов, 53 л<ет>» *(Смиречанский В. Д., протоиерей.* Дворовые и соседи А. С. Пушкина в Михайловском в 1825 году // Из Псковской старины. Вып. 1. Псков, 1916. С. 15). Отсюда получается, что он родился в 1771 или 1772 году.

16

См.: *Новиков Н.* «Крепостная любовь» Пушкина (Из новых архивных находок) // Русская провинция. 2000. № 1. С. 101–104. В рассказе о родственниках Ольги Калашниковой мы опираемся преимущественно на эту ценную (хотя и уязвимую в деталях) публикацию.

17

Параскева Сергеева фигурирует в документах как «сенная», то есть она выполняла различную работу в барском доме.

18

На то имелись весьма основательные причины. Женившись в 1773 году, Осип Абрамович Ганнибал спустя три года покинул супругу, забрав с собой малолетнюю дочь Надежду. Ребёнка отставной капитан морской артиллерии сдал в Красном Селе приятелю, а сам пустился во все тяжкие. Он сошёлся с новоржевской помещицей вдовой У. Е. Толстой и обвенчался с ней, «представя фальшивое свидетельство о смерти первой» жены *(XII, 314)*. Обман вскоре открылся, и псковский архиерей разлучил горе-любовников. Об амурном подвиге «сорвиголовы» (П. В. Анненков) стало известно императрице Екатерине II. Мудрая государыня вернула дочь матери, объявила второй брак моряка незаконным и отправила двоежёнца на корабль российского флота: «дабы он службою погрешения свои наградить мог». Вдобавок ко всему Осип Абрамович лишился доставшихся ему по разделу 1782 года владений в Софийском уезде, деревень Руново и Кобрино. По высочайшему указу они были переданы Надежде Осиповне Ганнибал и взяты под опеку. Попечительницей объявили соломенную вдову Марию Алексеевну Ганнибал, а опекунами — Петра Абрамовича Ганнибала и Михаила Алексеевича Пушкина (брата М. А. Ганнибал). Вернувшись с принудительной службы и обосновавшись в сельце Михайловском, Осип Абрамович попытался вернуть себе Кобрино и Руново, но безуспешно.

19

В «ревижской сказке» 1816 года значится то же самое: Василисе стукнуло «38 лет» *(Щёголев.* С. 264; Документы-1. С. 262). Однако исповедная роспись церкви Воскресения Христова вновь сообщает иные данные. Там сказано, что в 1825 году «Вассе Лазариной 49 л<ет>» *(Смиречанский В. Д., протоиерей.* Указ. соч. С. 15). Думается, что информация, приведённая в ревизских сказках, заслуживает большего доверия.

20

Новиков Н. Указ. соч. С. 102. Кстати, в исповедной росписи Преображенской церкви села Вязёмы за 1806 год, где перечислены «вотчины полковницы Марьи Алексеевны Ганнибаловой сельца Захарова крестьяне», никого из Калашниковых нет *(Ульянский А. И.* Няня Пушкина. М.; Д., 1940. С. 99–102).

21

Анненков П. В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, 1799–1826. СПб., 1874. С. 11–12. Выделено П. В. Анненковым.

Фамильные бумаги-1. С. 182.

23

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 282–284; Документы-1. С. 268.

Щёголев. С. 47, 264; Документы-1. С. 262.

Смиречанский В. Д., протоиерей. Указ. соч. С. 15.

26

В ревизской сказке 1816 года имеются следующие сведения о возрасте сыновей Михайлы Калашникова: «Фёдор — 16 лет, Василий — 12 лет, Иван — 6, Пётр — 3, Гаврила — 1» (*Щёголев.* С. 264; Документы-1. С. 262).

27

Там же.

28

Её память — 11 июля (ст. ст.). Подходящие имена для простолюдинов тогда, не мудрствуя лукаво, приискивали, как правило, прямо в храме, перед свершением таинства, сверяясь со святцами. К месту упомянем, что метрическая книга церкви Воскресения Христова погоста Воронич за 1805 год не сохранилась. [По крайней мере её нет в Государственном архиве Псковской области (ГАПО), где сосредоточены метрические книги этого храма (письмо автору директора ГАЛО В. Г. Кузьмина и начальника Отдела информации архива Н. И. Исаковой от 31 января 2013 года). Благодарю сотрудников ГАЛО, проделавших по моей просьбе большую исследовательскую работу.].

29

Новиков Н. Указ. соч. С. 102. Примечательно, что как раз в 1814 году Сергей Львович Пушкин вернулся из Варшавы, где состоял на службе в комиссариатской комиссии, и озаботился михайловскими делами. Появление Ольги Калашниковой в сельце Михайловском могло быть с этим как-то связано.

30

Письмо от 27 июля 1819 года; цит. по: *Цявловский.* С. 183.

31

Выделено Пушкиным.

32

В 1816 году по сельцу числилось «мужс<кого> пола 12, женского 11» *(Щёголев. С.* 264; Документы-1. С. 262). А по росписи 1825 года у помещицы Н. О. Пушкиной имелось 29 человек дворни, из них 16 женского пола *(Смиречанский В. Д., протоиерей.* Указ. соч. С. 15).

33

Из письма княгини В. Ф. Вяземской к мужу от 13 июня 1824 года из Одессы (подлин. на фр.). Цит. по: *Цявловский.* С. 426.

34

ПВС-1.С. 106.

В первые месяцы пребывания в деревне им были написаны «Аквилон», «Прозерпина», «Разговор книгопродавца с поэтом», «К морю», завершена третья глава «Евгения Онегина» и пр.

Например, Арина Родионовна вышла замуж почти в 23 года.

Документы-2. С. 157.

Баратынский Е. А. Указ. соч. С. 166.

39

Там же. С. 170.

В каноническом тексте она обозначена как «XXXVIII. XXXIX» *(VI, 89)*.

41

Фомичёв С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД, № 835: Из текстологических наблюдений // Пушкин: Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983. С. 44.

Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 377.

43

См., напр.: *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 250.

44

Юный и свежий поцелуй белолицей и чернookой <девушки> *(фр.)*.

Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. Михайловское; М., 2003. С. 18.

Словарь языка Пушкина. Т. 1. М., 1956. С. 94.

Там же. Ср.: *Набоков В.* Указ. соч. С. 379.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1994. С. 154. Новейшее энциклопедическое издание опирается именно на это толкование: «Белянка — светловолосая или светлолицая девушка, в контексте местного псковского диалекта — молодая, любимая девушка» (Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. С. 18).

ПВС-1. С. 109. В настоящем очерке не будут анализироваться соображения В. В. Вересаева, некогда ставшие сенсацией и заимевшие горячих приверженцев. Писатель в статье «Крепостной роман Пушкина» (1928) и публичных выступлениях утверждал: 1) «Большой Жанно» выделил одну из михайловских швей только оттого, что «девушка была беременна»; 2) никто не сумел доказать, что И. И. Пущин видел в январе 1825 года именно Ольгу Калашникову *(Вересаев.* С. 300–301). Первая тема, на наш взгляд, давно неактуальна: ещё П. Е. Щёголев в книге «Пушкин и мужики» (1928) ответил своему присяжному оппоненту хотя и резко, пуская в ход «личности», но довольно убедительно *(Щёголев.* С. 23–33, 108–109). Относительно же сомнений В. В. Вересаева, выраженных во втором пункте, скажем следующее. Общепринятую версию косвенно подкрепляют пушкинские сочинения и письма деревенского и последующих периодов, которые весьма гармонично взаимодействуют между собой. А в арсенале автора книги «Пушкин в жизни» отсутствовали какие-либо конкретные факты, могущие опровергнуть традиционное толкование мемуаров декабриста. Пустившись против течения, В. В. Вересаев полемизировал смело, ярко и изощрённо, однако, увы, голословно.

Щёголев. С. 40.

Языков Н. М. Златоглавая, святая… М., 2003. С. 91.

Цявловский. С. 487.

53

Ср.: *Аринштейн. С.* 69. Из письма Пушкина к брату и сестре от 4 декабря 1824 года выясняется, что Михайла Калашников только что вернулся из Северной столицы *(XIII, 127)*.

54

Л. М. Аринштейн считает эти стихи «шутливым куплетом» *(Аринштейн.* С. 69). Иногда думают, что набросок был адресован тригорским барышням; см., напр.: *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина. М.; Л., 1950. С. 368, 596.

Фомичёв С. А. Указ. соч. С. 59–60.

Словарь языка Пушкина. Т. 3. М., 1959. С. 512.

57

ПВС-1. С. 109. «Сцена описана очень тонкими, но отчётливыми чертами», — отметил В. Ф. Ходасевич *(Ходасевич.* С. 113). Комментировавшему данный эпизод П. Е. Щёголеву казалось, что «Пущин застал именно начальный момент любовного приключения, быть может, ещё и не разрешённого физиологически». Однако пушкинист был вынужден признаться: «Увы! только кажется, а утверждать не смею!» *(Щёголев.* С. 33).

Щёголев. С. 51–52; *Ариштейн.* С. 84.

Щёголев. С. 51–52.

Там же. С. 40–41.

Ариншгейн. С. 84–85.

Цявловский. С. 597.

Эту «деву» поэт защищал от нападок журналистов не только в примечаниях к «Евгению Онегину» (1833), но и в «Опровержении на критики» (1830).

Губер П. К. Дон-Жуанский список Пушкина. Пб., 1923. С. 204; *Вересаев.* С. 302.

65

Формула славного атамана М. И. Платова; см. записные книжки князя П. А. Вяземского.

Выражение Арины Родионовны.

67

РА. 1866. № 10. Стлб. 1489. Приехавший в Петербург И. П. Липранди виделся с Л. С. Пушкиным в апреле 1826 года.

Ходасевич. С. 141.

Ходасевич В. «Русалка»: Предположения и факты // Современные записки. Париж, 1924. № 20. С. 302–354.

Ходасевич В. В спорах о Пушкине // Современные записки. Париж, 1928. № 37. С. 275–294.

71

Там же. С. 283.

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 98.

Сурат И. Пушкинист Владислав Ходасевич. М., 1994. С. 55.

Беловая рукопись драмы датируется 1832 годом. Простое арифметическое действие переместит читателя в год 1825-й — как раз во времена «крепостного романа» автора «Русалки».

Ходасевич. С. 141. Выделено автором.

Щёголев. С. 47, 54, 85–86; Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 96.

77

Ср.: «Он попытался было воспользоваться её переездом и отвратить тот срам, который вот-вот должен был упасть на её голову» (*Щёголев. С.* 54).

78

В апреле 1826 года С. Л. Пушкина встречал на невских берегах И. П. Липранди (РА. 1866. № 10. Стлб. 1487–1488). А баронесса С. М. Дельвиг писала А. Н. Карелиной 3 мая из Петербурга: «Я познакомилась с Пушкиными, они недавно приехали из Москвы» (цит. по: *Цявловский.* С. 618).

Подмосковная князя П. А. Вяземского.

80

Это письмо было написано между 16 и 24 мая 1826 года.

81

То есть с Василием Львовичем Пушкиным. *Буянов* — персонаж сатиры В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811).

Или почти *(фр.)*.

83

Это предположение впервые высказал всё тот же В. Ф. Ходасевич, который, правда, использовал иную, отличную от нашей, аргументацию и развил свою версию, как представляется, в сомнительном направлении (*Ходасевич. С.* 128–130).

Розанов В. В. Уединённое. М., 1990. С. 213.

85

Из очерка А. И. Звездина «О Болдинском имении А. С. Пушкина в Нижегородской губернии и о пребывании в нём поэта в 1830-х годах» (1912). Цит. по: *Вересаев В. В.* Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 476.

Щёголев. С. 261.

Там же. С. 64, 67.

88

Глубоко признателен директору Государственного архива Нижегородской области (г. Балахна) В. В. Ступникову и сотрудникам архива, которые предоставили в моё распоряжение электронную копию ценного документа: ГАНО. Ф. 570. Оп. 5596, год 1826. Д. 886. Л. 227, 232 об., 251.

89

В «Летописи жизни и творчества Александра Пушкина», составленной Н. А. Тарховой, приведено, со ссылкой на сообщение С. С. Зимина, некорректное прочтение этой фразы: «От привития оспы» *(Тархова-2.* С. 175).

Куприянова. С. 129–130.

91

29 июня (ст. ст.) — день памяти святых апостолов Петра и Павла.

Некоторые краеведы предполагали, что сын Александра Пушкина был похоронен в одном из близлежащих уездных городов — Лукоянове или Сергаче.

93

Отвод — участок, выделенный (отведённый) для каких-либо нужд (В. И. Даль).

Кузнецов В. Дом, который многое помнит // Нижегородские новости. 1996. № 72. 17 апреля. С. 3.

95

Встретив Б. М. Фёдорова в Летнем саду, Пушкин в беседе с ним сказал следующее: «У меня нет детей, а всё выблядки. Не присылайте ко мне Вашего журнала» (Русский библиофил. 1911. № 5. С. 34).

Щёголев. С. 85.

97

В исповедной росписи Казанского собора за 1828 год И. В. Васильева недавно обнаружила упоминание о «действительного стат<ского> советника Пушкина крепост<ном> Иване Михайлове Калашникове» (Временник Пушкинской комиссии. Вып. 30. СПб., 2007. С. 155; Документы-1. С. 918). Исходя из того, что Казанский собор находится на Невском проспекте, а Пушкин жил неподалёку, в гостинице «Демут», И. В. Васильева предположила, что Ольгин брат был в это время камердинером поэта.

Рождённый до срока, недоносок *(фр.)*.

Карамзин Н. М. Записки старого московского жителя. М., 1986. С. 54.

Щёголев. С. 116.

101

Там же. С. 86.

Там же. С. 85.

103

Там же. С. 86.

104

В книге Н. И. Куприяновой приведён красноречивый фрагмент отчёта правительственного чиновника, который в 1826 году инспектировал Нижегородскую губернию: «Хлебопашество, бывшее поныне источником богатства и первым занятием поселян, не удовлетворяет более их нуждам по причине необыкновенно низкой цены хлеба. Хлеб, который прежде продавался в Нижнем Новгороде и вообще в губернии не ниже 10 рублей ассигнациями, покупается теперь за 6 рублей и менее, а между тем налоги те же, повинности увеличились, и крестьяне поистине впали в изнеможение. Казённая палата, помещики встречают затруднение в сборе податей, везде недоимки и везде невозможность пополнить оныя без крайнего разорения крестьян» (*Куприянова.* С. 147).

105

Дочь С. Л. Пушкина, О. С. Павлищева, позднее вспоминала: «Владея порядочным имением в Нижегородской губернии, он, по свойственному иным помещикам обычаю, никогда в нём не бывал и довольствовался доходами, подчас скудными, какие высылал управитель его, крепостной человек» (ПВС-1. С. 51). Ради объективности уточним: пару раз в село Болдино Сергей Львович всё же заглянул.

Безусловно, убытки от дилетантизма Михайлы были куда значительнее, нежели урон от его сребролюбия: в господский карман он запускал руку, но не терял при этом голову. Никакого состояния в бытность свою управляющим он так и не сколотил.

107

В том же году в услужение Павлищевым был отдан Пётр Калашников, брат Ольги. В исповедной росписи 1829 года петербургской Владимирской церкви (что в Придворных слободах) Пётр Михайлов упоминается как крепостной «г-на Павлицова».*[Филин М. Д.* Арина Родионовна. М., 2008 (серия «ЖЗЛ»). С. 190.]

Щёголев. С. 87.

109

Щёголев. С. 74.

Цит. по: *Тархова-3.* С. 233.

111

Щёголев. С. 76–77.

Там же. С. 77.

113

Арина Родионовна умерла в Петербурге в 1828 году.

114

У каждого «свой» Пушкин; стоит привести здесь любопытное суждение В. Ф. Ходасевича (который не имел никаких конкретных сведений ни о Калашниковой, ни о судьбе её крохи): «Если же, наконец, как это ни трудно, допустить, что ребёнок с матерью жили в Болдине, ничем, никогда не напоминая о своём существовании, то придётся допустить нечто ещё более невероятное: психологическую возможность для Пушкина-жениха в 1830 г., перед самой свадьбой, отправиться для осенних вдохновений в это самое Болдино, где живёт его собственный ребёнок с матерью. Несомненно, что если бы возможность такой встречи существовала, то Пушкин в Болдино не поехал бы. Меж тем он поехал. <…> Едучи в Болдино, он был гарантирован от реальной встречи с брошенной любовницей и её ребёнком» (*Ходасевич.* С. 120–121).

115

См. Предисловие к данному очерку.

Вдвоём *(фр.)*.

Ариштейн. С. 86.

III, 1216; Тархова-3. С. 244.

119

Александр Пушкин тесно общался тогда с Михайлой Калашниковым, знакомился с его трудами и отложившимися в процессе хозяйственной деятельности документами. В результате отец Ольги стал прототипом приказчика в «Истории села Горюхина» (которая была создана как раз в Болдине).

Щёголев. С. 90.

Сурат И., Бочаров С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002. С. 103.

122

Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 249 (письмо Е. А. Боратынского Д. Н. Свербееву, написанное в декабре 1830 года).

123

После встречи в Москве в декабре 1826 года с княгиней Марией Волконской (урождённой Раевской) эта тема стала для Александра Пушкина особо значимой, едва ли не мистической.

Заодно возьмём на заметку и такую реплику героя:

А женщины? Да я не променяю,
Вот видишь ли, мой глупый Лепорелло,
Последней в Андалузии крестьянки
На первых тамошних красавиц — право.
……
В них жизни нет, всё куклы восковые;
А наши!.. *(VII, 138)*.

125

В черновом варианте далее следует: «…и не мог и подумать склонить отца своего на таковое дурачество» (*VIII, 680)*.

Ходасевич. С. 134.

127

Отсылаем читателей ко второй главе настоящего очерка, где на основе текстов 1824–1826 годов нами составлен предполагаемый портрет Ольги Калашниковой.

128

Ср. с приведённым выше описанием зимнего вечера в «Евгении Онегине»:

В избушке распевая, дева… и т. д. *(VI, 90)*.

129

III, 1263; Тархова-3. С. 292. Стихи были опубликованы лишь спустя четверть века, в 1855 году.

130

На листе черновика стихотворения (ПД № 174, л. 2 об.) имеются пушкинские рисунки: шаржированные портреты графини Е. М. Завадовской (или А. А. Олениной?) *(Жуйкова Р. Г.* Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций. СПб., 1996. С. 171, 250; № 364,552). Но эти графические изображения никак не связаны со стихами.

Куприянова. С. 140–141; *Гордин А. М.* Пушкин в Михайловском. Л., 1989. С. 180; и др.

132

В 1835 году данный отрывок был Пушкиным отделан и переадресован — предположительно М. И. Осиповой, тригорской барышне.

Если это заимствование знаменитого *михайловского* стиха умышленное, то оно весьма показательно.

В пользу этого предположения как будто свидетельствует и пушкинское стихотворение «Яныш королевич» из цикла «Песни западных славян». О нём речь пойдёт дальше, в главе седьмой.

135

Она, правда, была неграмотной.

Орлов С. А. Болдинская осень. Горький, 1962. С. 64.

137

Документы-2. С. 158.

138

Это письмо обиженной Н. Н. Гончаровой с намёками на соседку Пушкина по имению не сохранилось.

139

Куприянова Н. И. «Отца простого дочь простая…» // Нижегородский рабочий. 1998. № 79. 28 апреля. С. 9.

Тархова-3. С. 264.

Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 758.

142

Так иногда называл нижегородское имение Михайла Калашников.

143

Некоторые биографические сведения о нём удалось разыскать Н. И. Куприяновой: «Павел Степанович Ключарёв родился около 1796 года. Отец его Степан Яковлевич — мелкий чиновник в Нижнем Новгороде. В октябре 1812 года семнадцатилетний Павел Ключарёв записывается в Нижегородское ополчение, служит и по военной, и по писцовой части. С военной службы уволен по болезни в марте 1822 года в чине поручика. На следующий год поступил на гражданскую службу, женился. В январе 1824 года у него родился сын Михаил» [*Куприянова.* С. 134–135.].

144

По Табели о рангах титулярный советник — чиновник IX класса. Следовательно, П. С. Ключарёв имел (до 6 декабря 1831 года) более высокий чин, нежели Александр Пушкин.

145

Александр Пушкин свиделся с матерью лишь во второй половине мая 1831 года, когда приехал с молодой женой из Москвы в Петербург. Так что поэту пришлось получать согласие Надежды Осиповны на «отпускную» (и как-то мотивировать свой человеколюбивый шаг) посредством переписки (которая, судя по отдельным фразам в письмах О. С. Павлищевой мужу, велась). Можно предположить, что именно Н. О. Пушкина задержалась с отправкой нужных Калашниковым бумаг.

Л. М. Аринштейн охарактеризовал эти отношения как «довольно странные» *(Аринштейн.* С. 87).

147

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 96.

148

Забегая вперёд скажем, что уже в конце лета 1831 года 27-летний Василий Калашников принял «министерство» *(XIV, 219)* и стал дворецким у Александра Пушкина. Болдинский управляющий не преминул этим обстоятельством воспользоваться и в одно из писем барину вложил записку, адресованную сыну *(XIV, 236)*. В декабре Пушкин в письме жене выразил своё недовольство Василием *(XIV, 248),* а П. В. Нащокину поэт сообщал, что брат Ольги не охоч до чужого добра, но за ним «блохи другого роду» *(XIV, 219)*. Пушкин даже собирался «выпроводить» Василия, большого поклонника женского пола, но так и не сделал этого. В начале 1832 года Василий Калашников женился на гончаровской девке Малашке Семёновой. «За сына Василья всенижайше благодарим вашу милость», — кланялся Михайла Калашников Пушкину 15 марта 1832 года *(XV, 17)*.

149

По меньшей мере спорным представляется мнение Л. М. Аринштейна, который усматривает в витиеватых оборотах письма Ольги Калашниковой просьбы о «вольной» и для Василия Калашникова, и для «всей семьи» *(Аринштейн.* С. 87).

150

Куприянова Н. И. «Отца простого дочь простая…» // Нижегородский рабочий. 1998. № 79. 28 апреля. С. 9.

151

А. С. и Н. Н. Пушкины уехали из Москвы 15 мая. Видимо, перед отъездом поэт поручил кому-то препроводить Ольгины документы в Болдино.

Орлов С. А. Указ. соч. С. 64.

153

Там же. С. 64–65.

Там же. С. 65.

155

Данное «описание», как уже говорилось, утрачено.

Куприянова. С. 132–133; Документы-2. С. 157–158.

157

Куприянова Н. И. «Отца простого дочь простая…» // Нижегородский рабочий. 1998. № 79. 28 апреля. С. 9.

Куприянова. С. 133–134.

159

Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С. 33–34.

160

ПВС-1.С. 51.

161

Тягло — определённое количество крестьян (крестьянских дворов), составляющих единицу обложения налогом, оброком или барщиной. Для сравнения: у Александра Пушкина в деревне Кистенёво было 95 ½ тягла.

162

Куприянова. С. 135. В другом источнике имущественное положение П. С. и А. С. Ключарёвых выглядит ещё скромнее: «7 душ; 4 тягла; 2,5 десятины пашни на душу; оброка с души — 5 рублей 71 копейка серебром; кроме оброка, давали помещику ржи 4 четверти, гречи 4 четверти, 4 баранов и 40 аршин холста» (Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 104).

163

Тархова-З. С. 470.

164

«Надо думать, — предположил П. Е. Щёголев, — он срывал при всяком удобном случае обиду за то, что его сделали ширмой, прикрывавшей грех жены» (*Щёголев. С.* 89). Местное предание о том, что П. С. Ключарёв во хмелю «поколачивал свою жену», дожило до наших дней *(Кузнецов В.* Дом, который многое помнит // Нижегородские новости. 1996. № 72.17 апреля. С. 3).

165

В этом же письме управляющий просил не забирать от него сына Гаврилу, «оставить насколко будет угодно вашей милости» *(XV, 17),* и его просьбу Пушкин уважил, отложив перевод Гаврилы Калашникова в лакеи.

166

Фамильные бумаги-2. С. 55 (письмо О. С. Павлищевой к мужу от 4 сентября 1831 года). К 1834 году казённые и частные долги С. Л. Пушкина превышали 200 тысяч рублей *(XV, 142)*.

167

Абрамович. С. 34.

168

Так в подлиннике.

169

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 109.

170

Это письмо Пушкина не найдено.

171

Впрочем, рутинной службою Гаврила Калашников себя особенно не утруждал, предпочитал ничегонеделание или, на худой конец, прогулки в седле. Болдинские мужики сетовали в 1833 году Александру Пушкину: «Сын Михаилы Иванова Гаврила у наших крестьян всех хароших лашедей погадил ездивши верьхом и теперь крестьяне не могут и держать хароших лашедей потому что боятся» *(XV, 92)*.

Так, с прочерком вместо подписи, в подлиннике.

173

Пушкинисты разошлись (и продолжают расходиться в XXI веке) в оценках этого послания. У истоков двух традиций восприятия повреждённого грызунами текста стоят всё те же П. Е. Щёголев и В. В. Вересаев. Безмерно симпатизировавший Ольге Калашниковой П. Е. Щёголев, который и ввёл письмо от 21 февраля 1833 года в научный оборот, трактовал его так: «Это <…> письмо даёт материал для суждений. Отношения, нашедшие здесь отражение, представляются проникнутыми какой-то крепкой интимностью и простотой. Они в переписке, она с доверием прибегает к нему за поддержкой, не скрывает от него своих горестей. Главная горесть — муж пьяница и самой развратной жизни человек, и вся надежда у неё на Пушкина: он не оставит её своими милостями. Необходимым считает сообщить Пушкину о своей беременности, просит в крёстные отцы, хоть по имени назвать. Ждёт с нетерпением приезда. Нет никаких следов озлобления и раздражения, которое было бы естественно после истории, разыгравшейся в 1826 году; наоборот, пишет человек, относящийся к адресату с чувствами дружеского уважения и приязни, не остающимися безответными. Эти чувства являются проекцией тех, что связывали барина и крестьянку семь лет назад. Исключается возможность расценки их связи как чисто физиологической, оголённой от романтики, лишённой длительности. Барин пришёл, разрушил девичью невинность и при первых признаках беременности отослал от себя — такой трактовки не оправдает позднейшая человечность их отношений» *(Щёголев.* С. 107–108).

«Когда читаешь само это письмо, — возражал В. В. Вересаев, — то решительно недоумеваешь, где смог Щёголев усмотреть в нём все те трогательные чувства, о которых он пишет. Письмо производит крайне отталкивающее впечатление. Всё оно полно всяческих просьб — видимо, автор вовсю старается использовать своё право на некоторое внимание к себе Пушкина. <…> Сама ещё недавно крепостная, — как скоро эта женщина усвоила барственный взгляд на лодырей-мужиков» *(Вересаев.* С. 314). Впоследствии сторонники В. В. Вересаева называли О. М. Ключарёву, к примеру, «жадной чиновницей, способной спекулировать прежней близостью к Пушкину в низких эгоистических целях» *(Ерёмин А.* Пушкин в Болдине. Горький, 1971. С. 17–18).

Куприянова Н. И. «Отца простого дочь простая…» // Нижегородский рабочий. 1998. № 80. 29 апреля. С. 9.

175

Там же; *Воробьёва И.* Новое о «крепостной любви» Пушкина // ВЛ. 1972. № 8. С. 251. Н. И. Куприянова пишет, что ребёнок умер «в младенческом возрасте», прожив как минимум три месяца *(Куприянова.* С. 134, 136). Скорее всего, его погребли «на отведённом кладбище» летом 1833 года.

Фамильные бумаги-1. С. 167.

177

Родился мальчик, Александр. Ранее, 19 мая 1832 года, на свет появилась Мария Пушкина.

178

Поздней осенью Александр Пушкин — опять уступая просьбам «известной» ему и нам особы — решился было взять мужика в свой петербургский дом, но из этой затеи не вышло ничего путного. «При выезде моём из Москвы, — рассказал поэт П. В. Нащокину 24 ноября, — Гаврила мой так был пьян и так меня взбесил, что я велел ему слезть с козел и оставил его на большой дороге в слезах и в истерике; но это всё на меня не подействовало…» *(XV, 96)*. Безутешный, брошенный на произвол судьбы Гаврила Калашников поплёлся обратно, достиг владений П. В. Нащокина, где и завалился на лестнице спать. Позднее он вернулся в Болдино.

179

Попов П. С. Пушкин под надзором в Нижегородской губернии // Пушкин в Болдине. Горький, 1937. С. 109; Документы-2. С. 329.

Цит. по: *Тархова-4. С.* 97–98.

181

Фамильные бумаги-1. С. 182. Письмо написано в бытность Н. О. Пушкиной в селе Тригорском.

182

Там же. С. 160 (письмо С. Л. Пушкина к сыну Льву от 7 июня 1833 года).

183

Щёголев. С. 230–232; Документы-2. С. 326–327. Доверенность была составлена «чиновником 5-го класса и кавалером» С. Л. Пушкиным в Новоржевском уездном суде 25 сентября 1833 года.

Ср.: «Пушкин приходил на могилу сына каждый раз, когда оказывался в Болдине» *(Ариштейн. С.* 86). Скорее всего, так оно и было — тем более что кладбище, как гласит приведённый выше (в главе третьей) архивный документ, находилось рядом с усадьбой.

185

Перед отъездом в путешествие Александр Пушкин взял взаймы у петербургского книготорговца И. Т. Лисенкова три тысячи рублей. Вероятно, Ольге поэт отдал значительную часть именно этих денег. К ним он мог добавить и 500 оброчных рублей, полученных по приезде в село от Михайлы Калашникова.

186

В дальнейшем Ольга к Пушкину уже не обращалась — так обычно сообщается во всевозможных комментариях. Точнее, на наш взгляд, говорить о том, что поэт больше не получал писем *непосредственно от Ключарёвой.*

187

Среди написанного им во вторую болдинскую осень — поэмы «Анджело» и «Медный всадник», повесть «Пиковая дама», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», стихотворения «Осень (Отрывок)» («Октябрь уж наступил…»), «Колокольчики звенят…» и др. Сергачский земский исправник С. П. Званцов, осуществлявший тогда секретное наблюдение за поэтом, доносил нижегородскому губернатору: «…Означенный г. Пушкин <…> во всё время проживания его, как известно мне, занимался единственно только одним сочинением, ни к кому к соседям не ездил и к себе никого не принимал…» [Цит. по: *Тархова-4.* С. 111.]

188

Азадовский М. К. Источники сказок Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 1. М.; Л., 1936. С. 137–143. В библиотеке А. С. Пушкина имелось французское издание 1830 года.

189

Мы пользуемся самым полным и почти дословным (что важно) переводом, который сделал лектор Харьковского университета Г. Ю. Ирмер для книги Н. Ф. Сумцова «А. С. Пушкин. Исследования» (Харьков, 1900). Цит. по: Сказки Александра Сергеевича Пушкина. С приложением их главных источников, в том числе пушкинских записей народных сказок, рисунками поэта, ставшими иллюстрациями при содействии художника Георгия Юдина, а также пояснительным очерком Валентина Непомнящего. М.,1999. С. 151–158.

190

Белового автографа не сохранилось.

Азадовский М. К. Указ. соч. С. 142.

192

Землянка — жильё, выкопанное отчасти в земле, вкопанное в землю, с битыми стенками, а иногда с дерновою кровлей (В. И. Даль). В черновике Пушкин даже подумывал о том, чтобы его жадная героиня жила «на Ильмене на славном озере» *(III, 1080),* то есть неподалёку от Михайловского.

193

Вспомним, чем занималась Ольга в псковском сельце под приглядом Арины Родионовны. «Прядёт», кстати, и «дева» в четвёртой главе «Евгения Онегина».

194

В черновой редакции есть вариант: «[честно́ю дворянкой]» *(III, 1084)*.

195

Приведём ещё раз фрагмент из письма Ольги Ключарёвой Александру Пушкину от 21 февраля 1833 года: «…оные не стоют чтобы их выкупить…» *(XV, 49)*.

196

В июле — августе 1833 года Пушкин, на черновике незаконченного письма к Н. И. Гончаровой, изобразил двух лиц; Т. Г. Цявловская атрибутировала данный рисунок как портрет братьев Гримм *(Цявловская Т. Г.* Рисунки Пушкина. М., 1986. С. 339, 441; *Абрамович.* С. 426–427; *Жуйкова Р. Г.* Указ. соч. С. 134, 142; № 278, 307). Вероятно, изображение фиксирует какую-то стадию движения пушкинского замысла.

Абрамович. С. 409.

Щёголев. С. 231; Документы-2. С. 326.

199

Абрамович. С. 435. Исследовательница предположила, что причиной тому был разговор Александра Пушкина «с исправником Званцовым, из которого поэт понял, что за ним учреждён полицейский надзор» (там же). Приезд же И. М. Пеньковского в имение С. Л. Абрамович отнесла (вслед за П. Е. Щёголевым) к «последним дням октября» (там же. С. 461), что едва ли верно, ибо новый управляющий выехал в Болдино из Острова (города в Псковской губернии) 11-го или 12-го числа. Сомневаемся, что торопившийся И. М. Пеньковский находился в дороге более двух недель. И ещё: 1 ноября 1833 года Н. О. Пушкина писала дочери о «смене правления» в Болдине как о свершившемся факте (Фамильные бумаги-1. С. 184). Возможно, родители поэта уже успели получить оттуда (от И. М. Пеньковского?) какие-то известия.

200

В сельской баталии вздумал принять заочное участие и Сергей Львович. «Я написал Александру, который находится в Болдине, — поведал он 21 октября 1833 года О. С. Павлищевой. — Если он прочтёт моё письмо, то, быть может, приложит старания, чтобы эти господа возможно скорее покончили между собой»[Фамильные бумаги-1. С. 184.]. Александр Пушкин что-то ответил родителю 6 ноября *(XV, 93)*. К месту сообщим, что у поэта возникла тогда и другая закавыка: появилась призрачная надежда выкупить у наследников В. Л. Пушкина (умершего в 1830 году) половину Болдина. Он даже вступил в переговоры, вёл их долго, но безуспешно. В 1835 году эта часть имения была продана с аукциона постороннему лицу.

201

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 156.

Там же. С. 119.

203

Щёголев. С. 110.

204

Там же.

205

Сорванца *(фр.)*.

206

1 января 1834 года И. М. Пеньковский сообщил С. Л. Пушкину, что муж Ольги Ключарёвой всё ещё находится в Москве (Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 123).

207

Куприянова. С. 136. «Купчая крепость» налом утрачена, однако в реестре дел Лукояновского уездного суда имеется регистрационная запись об этой сделке. Домик Ольги Ключарёвой сохранился; после наводнения 1927 года его перенесли с берега Теши на квартал выше; современный адрес строения: улица Коммуны, 7 *(Борисова Н. А.* «Крепостная любовь» поэта // Пушкин на пороге XXI века: Провинциальный контекст. Вып. 2. Арзамас, 2000. С. 32, 34).

208

«Я от правился в Нижней, оставил дочь свою при последних часах родить, — сообщал Михайла Александру Пушкину 2 мая 1834 года из Нижнего Новгорода, — и не знаю что с ней случится на одного Бога надежда, теперь матери нет и ненакова надеится» *(XV, 138)*. Из другого источника выясняется, что Калашников уехал из Болдина 27 апреля.

Куприянова. С. 134.

210

Там же. С. 135. В записи в церковной метрической книге о смерти младенца Николая Ключарёва его отец упомянут как «проживающий в означенном селе Болдине» (там же. С. 134). Видимо, титулярный советник П. С. Ключарёв перебрался в уездный город в конце лета или осенью 1834 года.

211

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 152.

Как вычислил И. М. Пеньковский, у Калашниковых было три лошади, пять овец и «4 штуки рогатого скота»[Там же. С. 121.].

213

Там же. С. 124 (из письма И. М. Пеньковского С. Л. Пушкину от 16 января 1834 года).

Там же. С. 143 (письмо от 6 марта 1834 года).

215

Там же. С. 137 (письмо от 12 февраля 1834 года).

216

Навоз.

217

Там же. С. 124 (письмо от 16 января 1834 года).

Там же. С. 149 (письмо от 11 апреля 1834 года).

219

Там же. С. 123 (письмо от 1 января 1834 года).

220

Эта идея возникла ещё в конце 1833 года. Наталья Николаевна Пушкина была против такого поворота дел.

221

Там же. С. 152 (письмо от 30 апреля 1834 года).

Не исключено, что случившиеся события приблизили её роды.

223

М. А. и Т. Г. Цявловские, прочитавшие это письмо в подлиннике (ещё до его публикации), поместили 6 февраля 1933 года в своём дневнике «Вокруг Пушкина» примечательную, не совсем академическую реплику: «Ольга Ключарёва такой бабец крутой, судя по упоминаниям о ней Пеньковского»[*Цявловский М., Цявловская Т.* Вокруг Пушкина. М., 2000. С. 113.].

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 152.

225

После визита в имение Карла Рейхмана И. М. Пеньковский даже вернул Пушкиным данную ему ранее (в сентябре 1833 года) доверенность, однако с трудами не покончил.

Тархова-4. С. 225, 229.

227

Послание было направлено в Северную столицу. «Не знаю получите ль моё донесение в Петербурге, — обмолвился И. М. Пеньковский. — Я слышел от г-на Безобразова что Вы изволите проживать в Москве» *(XV, 187)*.

Допускаем, что и эта эпистола Василия Калашникова писалась по указанию Александра Пушкина. Поэту, кстати, не была чужда приведённая Василием пословица *(VIII, 303)*.

229

Свояченицы *(фр.)*.

В этой челобитной было, среди прочего, сказано, что «при оном управляющем Осифом Матвеивам ни один крестьянин жалобу не имеет <…> на счот судов остаёмся давольны не как прежде в вышеписанном безпорядке во всём справедливо» *(XV, 190)*. Можно предположить, что И. М. Пеньковский инициировал данную акцию. По крайней мере, две фразы из петиции болдинских крестьян практически совпадают с фразами из письма Иосифа Матвеевича Александру Пушкину от 21 августа 1834 года.

231

Там же. С. 237.

Эти слова появились в плане пушкинского романа «Русский Пелам», возможно, как раз в 1834 году. Примерно тогда же (или всё-таки *раньше*?) было написано и стихотворение «Яныш королевич» из цикла «Песни западных славян», которое по-иному развивало сюжет «Русалки». Так как в произведениях Пушкина иногда «время расчислено по календарю» *(VI, 193),* стоит отметить: королевич любил молодую красавицу Елицу «два красные лета», а потом оставил; они снова встретились, когда прошло «три года и боле»:

> Как увидел он свою Елицу,
> Разгорелись снова в нём желанья…
>
> *(III, 360–362).*

«Дальнейшим содержанием песни, — предположил В. Ф. Ходасевич, — явилась бы, в той или иной форме, возобновившаяся любовь королевича к „прежней любе“»[*Ходасевич.* С. 148.]. Источник этой песни (якобы переведённой не полностью) не установлен; бытует мнение, что она сочинена самим Пушкиным.

233

Щёголев. С. 116. Позже, 30 октября 1834 года, устные договорённости Александра Пушкина и управляющего были зафиксированы на бумаге в виде так называемого «Положения о довольствии» (там же; Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 769–770).

Тархова-4. С. 237.

235

В начале этого года Н. И. Павлищев, узнавший о замыслах Пушкина (но ещё не ведавший об отставке Михайлы Калашникова), писал ему 31 января из Варшавы: «…Я не могу хладнокровно подумать о намерении вашем отказаться от управления имением. Отказываясь от управления, вы оставляете имение на произвол судьбы, отдаёте его в руки Михайла, который разорял, грабил его двенадцать лет сряду; чего же ожидать теперь? — первой недоимки, — продажи с молотка, и может быть зрелища, как крепостные покупают имения у своих господ. Яне говорю, чтобы Михайло купил его, — нет; но уверен, что он в состоянии купить» *(XVI, 9)*.

И. М. Пеньковский управлял имением до 1852 года; он сумел спасти Болдино и даже сделать его прибыльным.

237

Щёголев. С. 147.

Куприянова. С. 138; Документы-2. С. 764.

239

Иван Калашников тогда сапожничал в Петербурге, был на оброке, а Гаврилу, судя по всему, ненадолго отдали в услужение к какому-то «помещику» (возможно, к М. М. Сонцову).

240

Василий Калашников теперь уже не был дворецким у Александра Пушкина: его, приискавшего прибыльное место, тоже перевели на оброк.

241

Пётр Калашников пока оставался у Павлищевых.

Щёголев. С. 153.

243

Здесь и в следующем абзаце выделено мной. *(Прим. авт.)*

244

Василий Калашников.

245

Из описи сельца Михайловского, учинённой в 1838 году, следует, что жену Фёдора Калашникова, старшего сына Михайлы, звали Аксиньей и у них было две дочери [Там же. С. 267]..

Гаврила.

Далее и до конца письма Михайла писал сам.

Краткая биография *(лат.)*.

249

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 193.

Там же. С. 97.

Борисова Н. А. Указ. соч. С. 34.

Куприянова. С. 137.

Н. И. Куприянова установила, что в конце 1837 года П. С. Ключарёв вековал «в Нижнем Новгороде в каких-то дешёвых номерах»[Там же.]. Дальнейшая его судьба неведома; правда, есть шаткие основания предполагать, что в 1840 году Павел Степанович ещё здравствовал.

Баратынский Е. А. Указ. соч. С. 175.

Борисова Н. А. Указ. соч. С. 31.

Щёголев. С. 154. Иван и Василий Михайловы были обязаны выплачивать по десять рублей в месяц; сумма поборов с Гаврилы, «проживающего при отце без дела», в документе не указана.

257

Фамильные бумаги-2. С. 151.

Щёголев. С. 268; Летописи ГЛМ. Опека. С. 273.

259

По одним данным, в том же 1837 году, по другим — в 1838-м. [Там же. С. 174, 268; Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 99; Летописи ГЛМ. Опека. С. 273; Документы-1. С. 263; Документы-2. С. 763.].

Куприянова. С. 139.

То есть до Рождественского поста.

Красавец Габриэль *(фр.)*.

263

Щёголев. С. 160; ср.: *Павлищев Л.* Из семейной хроники: Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890. С. 130.

Щёголев. С. 155; Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 97.

Щёголев. С. 234–235.

Там же. С. 155; Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 97.

267

Летописи ГЛМ. Опека. С. 302, 307–308, 312.

Летописи ГЛМ. Пушкин. С. 97.

269

Там же.

Пушкин А. С. Сочинения / Под ред. П. А. Ефремова. Т. 7. СПб., 1903. С. 125. П. Е. Щёголев указал, что П. А. Ефремов почерпнул эти сведения из неизвестных ему (Павлу Елисеевичу) источников *(Щёголев. С.* 155).

К ним могли принадлежать: Фёдор с семьёю, Гаврила, Иван, а также вдова Василия Маланья Семёнова (со своим вторым мужем). Ивану (в 1842 году «холостому») и Маланье Н. Н. Пушкина дала «вольно отпускную»; других данных о стареющих Калашниковых нет.

Баратынский Е. А. Указ. соч. С. 179.

Печ. по изд.: *Ходасевич В.* Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924. С. 113–156. Цитаты из произведений и писем Пушкина приведены в соответствие с Большим академическим собранием сочинений поэта. Сохранены некоторые особенности орфографии и пунктуации автора книги. Сделанные В. Ф. Ходасевичем выделения в тексте унифицированы и воспроизводятся курсивом.

То есть положением знаменитого и к тому же опального поэта. *В. Х.*

275

Подмосковное имение Вяземского. *В. Х.*

Или почти *(фр.)*.

277

Героиня одноимённой поэмы Баратынского. Соблазнённая и покинутая гусаром, Эда умирает. *В. Х.*

«Дунайская русалка» *(нем.)*.

279

Москва шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по <Михайловскому> *(фр.)*.

280

«Сюжеты Пушкина». Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.—П., 1923. Стр. 35–39.

281

Переписка, под ред. В. И. Сайтова, т. III, письмо № 801.

Другой я, второй я *(лат.)*.

283

Ср. последние два стиха с 2-й строфой «Заклинания» и с заключительными стихами «Для берегов…».

См. «Пушкин и его современники», вып. IX–X, стр. 53–54.

Выше указано, что набросок «Как счастлив я…» связан с тою же «Деревней» темою бегства от двора и скрытою связью с темой «развратного злодея». Маленький отголосок того же наброска встречаем и во «…Вновь я посетил». В «Как счастлив я…» говорится о свиданиях с русалкой *«при свете ночи лунной».* Во «… Вновь я посетил» встречается то же словосочетание:

Я проезжал верхом *при свете лунном…* <…>.

Я отказываюсь объяснять изменение пяти лет на семь желанием Пушкина сделать Русалочку «постарше»: когда дело шло о русалке, это был бы слишком наивный натурализм. Тем более было бы смешно, если бы потом, решив сделать Русалочку восьмилетней («Прошло 8 лет»), Пушкин всё-таки убавил ей один год: «Прошло 7 долгих лет». Изменение «8» на «7 долгих» нельзя объяснить и требованием стиха, потому что Пушкин вполне мог написать: «Прошло уж восемь лет» («ужей» он не боялся: см. хотя бы XL строфу IV главы «Онегина» и тот же вычеркнутый стих «Русалки»: «Тому давно, годов уж пять иль больше…»).

287

В Летописи жизни Ольги Калашниковой соблюдена традиция пушкинских «Летописей жизни». В частности, поставленное между датами многоточие означает, что то или иное событие произошло в указанный промежуток времени, однако более точная датировка невозможна.